

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА
(СБОРНИК)

Николай Семёнович Лесков Леди Макбет Мценского уезда (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18578990

Леди Макбет Мценского уезда / Н. Лесков: Фолио; Харьков; 2009

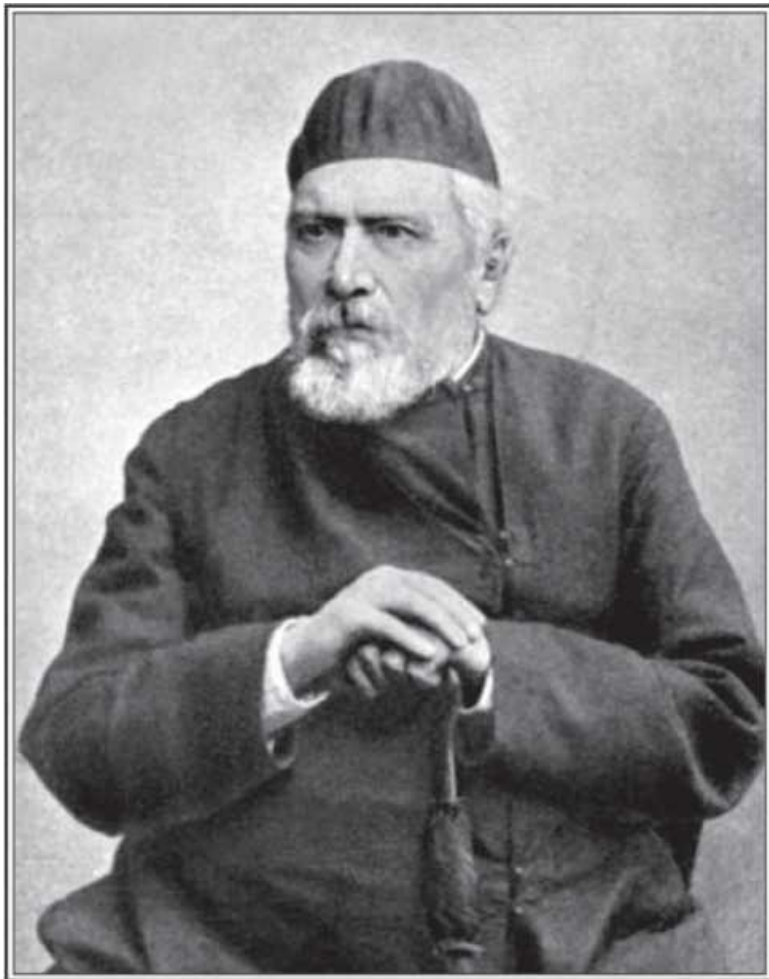
ISBN 978-966-03-4426-6

Аннотация

Н.С.Лесков – русский писатель и публицист, художественное дарование которого наиболее ярко проявилось в его рассказах и повестях. Именно в них, а не в романах, Лескову удалось создать широкую картину русской жизни и образы удивительных, самобытных героев. В книгу вошли лучшие произведения писателя о трагических судьбах талантливых людей из народа: "Тупейный художник", "Левша", "Очарованный странник", а также повесть "Леди Макбет Мценского уезда" – история бунта женской души против мертвящей обстановки купеческой среды, история всепоглощающей, безумной страсти, ради которой героиня готова на все, даже на убийство...

Содержание

Леди Макбет Мценского уезда	5
Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	14
Глава четвертая	18
Глава пятая	21
Глава шестая	23
Глава седьмая	35
Глава восьмая	44
Глава девятая	48
Глава десятая	52
Глава одиннадцатая	57
Глава двенадцатая	61
Глава тринадцатая	66
Глава четырнадцатая	70
Глава пятнадцатая	78
Воительница	86
Глава первая	86
Глава вторая	92
Глава третья	100
Глава четвертая	160
Глава пятая	164
Конец ознакомительного фрагмента.	189



Николай Лесков

Леди Макбет

Мценского уезда

Леди Макбет Мценского уезда

Очерк

«Первую песенку зардевшись спеть».
Поговорка

Глава первая

Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее леди Макбет Мценского уезда.

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но

стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная, и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали они крупчаткою, держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажиточные. Семья у них к тому же была совсем небольшая: свекор Борис Тимофеич Измайлов, человек уж лет под восемьдесят, давно вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны, пятой год, как она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой жены, с которою он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему Бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча, и не то что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самоё Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом

терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, бог весть как рада бы она была понынчиться с деточкой; а другое – и попреки ей надоели: «Чего шла да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, нербдица», словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим.

При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть часов утра чаю, да и по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампы сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.

Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать со скуки и полезет по лесенке в свою супружескую опочивальню, устроенную на высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазет, как у амбаров пенъ-

ку вешают или крупчатку ссыпают, – опять ей зевнется, она и рада: прикорнет часок-другой, а проснется – опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, окромя киевского патерика, в доме их не было.

Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания.

Глава вторая

На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисыч народу на мельницу с целой округи, и сам там сидел безотлучно; городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучней было, а тут будто даже как и лучше показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не лежало, а без него по крайней мере одним командиром над ней стало меньше.

Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чем определенном не думая, да и стыдно ей, наконец, зевать стало. А на дворе погода такая чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички.

«Что это я в самом деле раззевалась? – подумала Катерина Львовна. – Сем-ну я хоть встану по двору погуляю или в сад пройдусь».

Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шу-

бочку и вышла.

На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит.

– Чего это вы так радуетесь? – спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков.

– А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую вешали, – отвечал ей старый приказчик.

– Какую свинью?

– А вот свинью Аксиныю, что родила сына Василья да не позвала нас на крестины, – смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой.

Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиныи.

– Черти, дьяволы гладкие, – ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади.

– Восемь пудов до обеда тянет, а пихтёрь сена съест, так и гирь неостанет, – опять объяснял красивый молодец и, повернув кадь, выбросил кухарку на сложенное в угле кульё.

Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.

– Ну-ка, а сколько во мне будет? – пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.

– Три пуда семь фунтов, – отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму. – Диковина!

– Чему ж ты дивуешься?

– Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвовна. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо – и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать.

– Что ж я, не человек, что ли? Небось тоже устанешь, – ответила, слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутивными.

– Ни боже мой! В Аравию счастливую занес бы, – отвечал ей Сергей на ее замечание.

– Не так ты, молодец, рассуждаешь, – говорил ссыпавший мужичок. – Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила наша, сила тянет – не тело!

– Да, я в девках страсть сильна была, – сказала, опять не утерпев, Катерина Львовна. – Меня даже мужчина не всякий одолевал.

– А ну-с, позвольте ручку, если как это правда, – попросил красивый молодец.

Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.

– Ой, пусти кольцо: больно! – вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку, и свободною рукою толкнула его в грудь.

Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону.

– Н-да, вот ты и рассуждай, что женщина, – удивился мужичок.

– Нет, а вы позвольте так взяться, наборки, – относился, раскидывая кудри, Серега.

– Ну, берись, – ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки.

Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было пошевелинула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку.

Катерина Львовна не успела даже распорядиться своею хваленою силою. Красная-раскрасная, поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара, а Сергей молодецки кашлянул и крикнул:

– Ну вы, олухи царя небесного! Сыпь, не зевай, гребла не замай; будут вершки, наши лишки.

Будто как он и внимания не обратил на то, что сейчас было.

– Девичур этот проклятый Сережка! – рассказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Аксинья. – Всем вор взял – что ростом, что лицом, что красотой, какую ты хочешь женчину, сейчас он ее, подлец, улестит, и улестит и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный!

– А ты, Аксинья... того, – говорила, идучи впереди ее,

молодая хозяйка, – мальчик-то твой у тебя жив?

– Жив, матушка, жив – что ему! Где они не нужны-то кому, у тех они ведь живущи.

– И откуда это он у тебя?

– И-и! так гулевой – на народе ведь живешь-то – гулевой.

– Давно он у нас, этот молодец?

– Кто это? Сергей-то, что ли?

– Да.

– С месяц будет. У Копчоновых допрежь служил, так прогнал его хозяин. – Аксиныя понизила голос и досказала: – Сказывают, с самой хозяйкой в любви был... Ведь вот, тренафемская его душа, какой смелый!

Глава третья

Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисыч еще не возвращался с попрудки. Свекра Бориса Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому приятелю на именины, даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повечёрила, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать: кто под сараи, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.

– Здравствуй, – тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня.

– Сударыня! – произнес кто-то чрез две минуты у запертой двери Катерины Львовны.

– Кто это? – испугавшись, спросила Катерина Львовна.

– Не извольте пугаться: это я, Сергей, – отвечал приказчик.

– Что тебе, Сергей, нужно?

– Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить вашу милость об одной малости желаю; позвольте взойти на минуту.

Катерина Львовна повернула ключ и выпустила Сергея.

– Что тебе? – спросила она, сама отходя к окошку.

– Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолевает.

– У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю я их, – отвечала Катерина Львовна.

– Такая скука, – жаловался Сергей.

– Чего тебе скучать!

– Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, живем мы словно как в монастыре каком, а вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаянье иногда приходит.

– Чего ж ты не женишься?

– Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут жениться? Человек я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдет, а по бедности все у нас, Катерина Ильвовна, вы сами изволите знать, необразованность. Разве оне могут что об любви понимать как следует! Вот изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были, а вы у них теперь как канарейка в клетке содержитесь.

– Да, мне скучно, – сорвалось у Катерины Львовны.

– Как не скучать, сударыня, в эдакой жизни! Хоша бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так, как другие прочие

делают, так вам и видеться с ним даже невозможно.

– Ну это ты... не то совсем. Мне вот, когда б я себе ребеночка бы родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело стало.

– Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нетто теперь, по хозяйевам столько лет живши и на эдакую женскую жизнь по купечеству гляючи, мы тоже не понимаем? Песня поется: «без мила дружка обуяла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было...

У Сергея задрожал голос.

– Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе...

– Нет, позвольте, сударыня, – произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне. – Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете; ну только теперь, – произнес он одним придыханием, – теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти.

– Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно брошусь, – говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносною властью неопишуемого страха, и схватилась рукою за подоконницу.

– Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросаться? –

развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.

– Ох! ох! пусти, – тихо стонала Катерина Львовна, слабея под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.

Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол.

В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не мешало.

– Иди, – говорила Катерина Львовна через полчаса, не смотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы.

– Чего я таперича отсюдова пойду, – отвечал ей счастливым голосом Сергей.

– Свекор двери запрет.

– Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога? Мне что к тебе, что от тебя – везде двери, – отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею.

Глава четвертая

Зиновий Борисыч еще неделю не бывал домой, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого бела света гуляла с Сергеем.

Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча и винца из свекрового погреба попито, и сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.

Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому, подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невестки-на окна тихо-тихохонько спускается книзу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил Борис Тимофеич и хватить молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.

– Сказывай, – говорит Борис Тимофеич, – где был, вор ты эдакой?

– А где был, – говорит, – там меня, Борис Тимофеич, сударь, уж нету, – отвечал Сергей.

– У невестки ночевал?

– Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал; а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего слова послушай: что, отец,

было, того назад не воротишь; не клади ж ты по крайности позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого уболагодворения желаешь?

– Желая я тебе, аспиду, пятьсот плетей закатить, – отвечал Борис Тимофеич.

– Моя вина – твоя воля, – согласился молодец. – Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей мою кровь.

Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел.

Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном.

Но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят, а Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уже невмоготу стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся природы и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея», – пришла она к свекру.

Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки.

– Что ты это, такая-сякая, – начал он срамить Катерину

Львовну.

– Пусти, – говорит, – я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было.

– Худого, – говорит, – не было! – а сам зубами так и скрипит. – А чем вы там с ним по ночам занимались? Подушки мужнины перебивали?

А та все с своим пристаёт: пусти его да пусти.

– А коли так, – говорит Борис Тимофеич, – так вот же тебе: муж приедет, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю.

Тем Борис Тимофеич и порешил; но только это решение его не состоялось.

Глава пятая

Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготавливала особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком.

Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели; а свекра, Бориса Тимофеича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое, а Зиновия Борисыча посланный не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался еще верст за сто: посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал.

Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала; ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и

не отпускает. Задивились было этому по двору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это дивованье вдруг сразу прошло. «Зашла, – смекали, – у хозяйки с Сергеем алигория, да и только. – Ее, мол, это дело, ее и ответ будет».

А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым кречетом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время катилось не ддя них одних: спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисыч.

Глава шестая

На дворе после обеда стоял пёклый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть на высокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и омаривает, так лицо потом и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала: «Самовар, – говорит, – под яблонью глохнет». Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый да претолстущий-толстый... и усы, как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел? – думает Катерина Львовна. – Сливки тут-то я на окне поставила: беспрременно он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его», – решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же этот кот у нас взялся? – рассуждает в кошмаре Катерина Львовна. – Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а

тут ишь какой забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. «О, да что ж это такое? Уж это, полно, кот ли?» – подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице – никакого кота нет, лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает.

Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала, целовала Сергея, миловала, миловала его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить; а солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный вечер.

– Заспалась я, – говорила Аксиныя Катерина Львовна и уселась на ковре под цветущею яблонью чай пить. – И что это такое, Аксиныюшка, значит? – пытала она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.

– Что, матушка?

– Не то что во сне, а вот совсем вот наяву кот ко мне все какой-то лез.

– И, что ты это?

– Право, кот лез.

Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.

– И зачем тебе его было ласкать?

– Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.

– Чудно, право! – восклицала кухарка.

– Я и сама надивиться не могу.

– Это беспрерывно вроде как к тебе кто-нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдет.

– Да что ж такое именно?

– Ну именно что – уж этого тебе никто, милый друг, объяснить не может, что именно, а только что-нибудь да будет.

– Месяц все во сне видела, а потом этот кот, – продолжала Катерина Львовна.

– Месяц – это младенец.

Катерина Львовна покраснела.

– Не спослать ли сюда к твоей милости Сергея? – попытала ее напрашивающаяся в наперсницы Аксинья.

– Ну что ж, – отвечала Катерина Львовна, – и то правда, поди пошли его: я его чаем тут напою.

– То-то, я говорю, что послать его, – порешила Аксинья и закачалась уткою к садовой калитке.

Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.

– Мечтанье одно, – отвечал Сергей.

– С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?

– Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я на тебя только глазком гляжу да сохну, а нонче вона! Всем твоим белым телом владею.

Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.

– Ух, голова закружилась, – заговорила Катерина Львовна. – Сережа! поди-ка сюда; сядь тут возле, – позвала она,

нежась и потягиваясь в роскошной позе.

Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины Львовны.

– А ты сох же по мне, Сережа?

– Как же не сох.

– Как же ты сох? Расскажи мне про это.

– Да как про это расскажешь? Разве можно про это изъяснить, как сохнешь? Тосковал.



Б. М. Кустодиев. Купчиха за чаем

– Отчего ж я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют.

Сергей промолчал.

– А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? что? Я ведь небось слыхала, как ты на галдарее пел, – про-

должала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.

– Что ж что песни пел? Комар вон и весь свой век поет, да ведь не с радости, – отвечал сухо Сергей.

Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Сергея.

Ей хотелось говорить, а Сергей супился и молчал.

– Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой! – воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на котором стоял полный погожий месяц.

Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны; в воздухе стояло тихо; только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям.

Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо. Сергей тоже молчал; только его не занимало небо. Обхватив обеими руками свои колени, он сосредоточенно глядел на свои сапожки.

Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагом, позади сада, кто-то завел звучную песню; под забором в густом черемушнике шелкнул и громко заколотил соловей; в клетке на высо-

ком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за садовым забором пронеслась без всякого шума веселая стая собак и исчезла в безобразной, черной тени полуразвалившихся, старых соляных магазинов.

Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава так и играет с лунным блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти прихотливые, светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону.

– Ах, Сережечка, прелесть-то какая! – воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна.

Сергей равнодушно повел глазами.

– Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?

– Что пустое говорить! – отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну.

– Изменщик ты, Сережа, – ревновала Катерина Львовна, – необстоятельный.

– Я даже этих и слов на свой счет не принимаю, – отвечал спокойным тоном Сергей.

– Что ж ты меня так целуешь?

Сергей совсем промолчал.

– Это только мужья с женами, – продолжала, играя его

кудрями, Катерина Львовна, – так друг дружке с губ пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони, что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так вот, – шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и целуя его с страстным увлечением.

– Слушай, Сережа, что я тебе скажу, – начала Катерина Львовна спустя малое время, – с чего это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик?

– Кому ж это про меня брехать охота?

– Ну уж говорят люди.

– Может быть, когда и изменял тем, какие совсем нестоящие.

– А на что, дурак, с нестоящими связывался? с нестоящею не надо и любви иметь.

– Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассуждению делается? Один соблаз действует. Ты с нею совсем просто, без всяких этих намерений заповедь свою преступил, а она уж и на шею тебе вешается. Вот и любовь!

– Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу; ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько ж и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня, – живая не расстанусь.

Сергей встрепенулся.

– Да ведь, Катерина Ильвовна! свет ты мой ясный! – заговорил он. – Ты сама посмотри, какое наше с тобою дело. Ты вон так теперь замечаешь, что я задумчив нонче, а не рассудишь ты того, как мне и задумчивым не быть. У меня, может, все сердце мое в запеченной крови затонуло!

– Говори, говори, Сережа, свое горе.

– Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело, благослови Господи, муж твой наедет, а ты, Сергей Филипыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музыкантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Ильвовны в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку перебивает, да с своим законным Зиновием с Борисычем опочивать укладывается.

– Этого не будет! – весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.

– Как так этого не будет! А я так понимаю, что совсем даже без этого вам невозможно. А я тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть.

– Да ну, полно тебе все об этом.

Катерине Львовне было приятно это выражение Сергеевой ревности, и она, рассмеявшись, опять взялась за свои поцелуи.

– А повторительно, – продолжал Сергей, тихонько высвобождая свою голову из голых по плечи рук Катерины Львовны, – повторительно надо сказать и то, что состояние мое

самое ничтожное тоже заставляет, может, не раз и не десять раз рассудить и так и иначе. Будь я, так скажу, равный вам, будь я какой барин или купец, я бы то есть с вами, Катерина Ильвовна, и ни в жизнь мою не расстался. Ну, а так сами вы посудите, что я за человек при вас есть? Видючи теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в опочивальню, должен я все это переносить в моем сердце и, может, даже сам для себя чрез то на целый век презренным человеком сделаться. Катерина Ильвовна! Я ведь не как другие прочие, для которого все равно, абы ему от женщины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и как она черной змеею сосет мое сердце...

– Что ты это мне все про такое толкуешь? – перебила его Катерина Львовна.

Ей стало жаль Сергея.

– Катерина Ильвовна! Как про это не толковать-то? Как не толковать-то? Когда, может, все уж им объяснено и написано, когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а даже самого завтрашнего числа Сергея здесь ни духу, ни паху на этом дворе не останется?

– Нет, нет, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будет, чтоб я без тебя осталась, – успокоивала его все с теми же ласками Катерина Львовна. – Если только пойдет на что дело... либо ему, либо мне не жить, а уж ты со мной будешь.

– Никак этого не может, Катерина Ильвовна, последовать, – отвечал Сергей, печально и грустно качая своею го-

лювою. – Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Любил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь? Нешто это вам почет какой – полюбовницей быть? Я б хотел пред святым предвечным храмом мужем вам быть: так тогда я, хоть завсегда млаже себя перед вами считая, все-таки мог бы по крайности публично всем обличить, сколь я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю...

Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этим его желанием жениться на ней – желанием, всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастья; кровь ее кипела, и она не могла более ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижав к груди своей его голову, заговорила:

– Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить с тобою совсем как следует стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас.

И опять пошли поцелуи да ласки.

Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине то шепот с тихим смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее над хилою старостью посмеяться; то хохот звонкий и веселый,

словно кого озерные русалки щекочут. Все это, плескаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру, резвилась и играла Катерина Львовна с молодым мужниным приказчиком. Сыпался, сыпался на них молодой белый цвет с кудрявой яблонки, да уж и перестал сыпаться. А тем временем короткая летняя ночь проходила, луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела на землю искоса, тусклее и тусклее; с кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт; потом послышались плевков, сердитое фырканье, и вслед за тем два или три кота, оборвавшись, с шумом покатались по приставленному к крыше пуку теса.

– Пойдем спать, – сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь с ковра, и как лежала в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по тихому, до мертвенности тихому купеческому двору, а Сергей понес за нею коверчик и блузу, которую она, расшалившись, сбросила.

Глава седьмая

Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик, сон так и окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешившись, так крепко, что и нога ее спит и рука спит; но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась и на постель тяжелым осметком упал давешний кот.

– Да что же это в самом деле за наказание с этим котом? – рассуждает усталая Катерина Львовна. – Дверь теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ заперла, окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выкину, – собиралась встать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги ее не служат ей; а кот ходит по всей по ней и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова человеческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать.

«Нет, – думает она, – больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудренный какой-то этот кот ко мне повадился».

А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордью да и выговаривает: «Какой же, – говорит, – я кот! С какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишечки внутри потрескались от невестушкиного от угощения. С того, –

мурлычит, – я весь вот и поубавился и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне понимает, что я такое есть в самом деле. Ну, как же нонче ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой закон верно соблюдаешь? Яне кладбища нарочно пришел поглядеть, как вы с Сергеем Филипычем мужнину постельку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня, видишь, от твоего угощения и глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся!»

Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится!

Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и опять заснул; но у нее весь сон прошел – и кстати.

Лежит она с открытыми глазами и вдруг слышит, что на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли, – должно быть, ласкаться стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка внизу щелкнула, и дверь отворилась. «Либо мне все это слышится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся, потому что дверь его запасным ключом отперта», – подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.

– Слушай, Сережа, – сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.

По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно переступая, действительно кто-то приближался к запертой двери спальни.

Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб, по которому не первый раз спускался из хозяйкиной спальни.

– Нет, не надо, не надо! Ты приляг тут... не отходи далеко, – прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается.

Сергей послушался Катерины Львовны: он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под лубком на галереечке.

Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже слышно, как учащенно стучает его ревнивое сердце; но не жалость, а злой смех разбирает Катерину Львовну.

«Ищи вчерашнего дня», – думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем.

Это продолжалось минут десять; но, наконец, Зиновию Борисычу надоело стоять за дверью да слушать, как жена спит: он постучался.

– Кто там? – не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна.

– Свои, – отозвался Зиновий Борисыч.

– Это ты, Зиновий Борисыч?

– Ну я! Будто ты не слышишь!

Катерина Львовна вскочила как лежала в одной рубашке, выпустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель.

– Чтой-то перед зарей холодно становится, – произнесла она, укутываясь одеялом.

Зиновий Борисыч взошел озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся.

– Как живешь-можешь? – спросил он супругу.

– Ничего, – отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую блузу.

– Самовар небось поставить? – спросила она.

– Ничего, вскричите Аксиною, пусть поставит.

Катерина Львовна нахватала на босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было. В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку.

– Сиди тут, – шепнула она.

– Докуда же сидеть? – также шепотом спросил Сережа.

– О, да какой же ты бестолковый! Сиди, докуда я скажу.

И Катерина Львовна сама посадила его на старое место.

А Сергею отсюда с галереи все слышно, что в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь и Катерина Львовна снова взошла к мужу. Все от слова до слова слышно.

– Что ты там возилась долго? – спрашивает жену Зиновий Борисыч.

– Самовар ставила, – отвечает она спокойно.

Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисыч вешает на вешалку свой сюртук. Вот он умывается, фыркает и брызжет во все стороны водою; вот спросил полотенце; опять начинаются речи.

– Ну как же это вы тятеньку схоронили? – осведомляется муж.

– Так, – говорит жена, – они померли, их и схоронили.

– И что это за удивительность такая!

– Бог его знает, – отвечала Катерина Львовна и застучала чашками.

Зиновий Борисыч грустный ходил по комнате.

– Ну, а вы тут как свое время проводили? – спрашивает опять жену Зиновий Борисыч.

– Наши радости-то, чай, всякому известны: по балам не ездим и по театрам столько ж.

– А словно радости-то у вас и к мужу немного, – искоса поглядывая, заводил Зиновий Борисыч.

– Не молоденькие тоже мы с вами, чтоб так без ума без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот хлопочу, бегаю для вашего удовольствия.

Катерина Львовна опять выбежала самовар взять и опять заскочила к Сергею, дернула его и говорит: «Не зевай, Сережа!»

Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако, стал наготове.

Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Борисыч стоит

коленями на постели и вешает на стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным снурочком.

– Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком положении постель надвое разостлали? – как-то мудрено вдруг спросил он жену.

– А вас все дожидала, – спокойно глядя на него, ответила Катерина Львовна.

– И на том благодарим вас покорно... А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?

Зиновий Борисыч поднял с простыни маленький шерстяной поясочек Сергея и держал его за кончик перед жениными глазами.

Катерина Львовна нимало не задумалась.

– В саду, – говорит, – нашла да юбку себе подвязала.

– Да! – произнес с особым ударением Зиновий Борисыч, – мы тоже про ваши про юбки кое-что слышали.

– Что ж это вы слышали?

– Да всё про дела ваши про хорошие.

– Никаких моих дел таких нету.

– Ну, это мы разберем, все разберем, – отвечал, подвигая жене выпитую чашку, Зиновий Борисыч.

Катерина Львовна промолчала.

– Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все въявь произведем, – проговорил еще после долгой паузы Зиновий Борисыч, поведя на свою жену бровями.

– Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так

очень она этого пужается, – ответила та.

– Что! что! – повыся голос, окрикнул Зиновий Борисыч.

– Ничего – проехали, – отвечала жена.

– Ну, ты гляди у меня того! Что-то ты больно речиста здесь стала!

– А с чего мне и речистой не быть? – отозвалась Катерина Львовна.

– Больше бы за собой смотрела.

– Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длинным языком чего наязычит, а я должна над собой всякие наругательства сносить! Вот еще новости тоже!

– Не длинные языки, а тут верно про ваши амуры-то известно.

– Про какие такие мои амуры? – крикнула, непритворно вспыхнув, Катерина Львовна.

– Знаю я, про какие.

– А знаете, так что ж: вы яснее сказывайте!

Зиновий Борисыч промолчал и опять подвинул жене пустую чашку.

– Видно, и говорить-то не про что, – отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на блюдце мужу чайную ложечку. – Ну сказывайте, ну про кого вам доносили? кто такой есть мой перед вами полюбовник?

– Узнаете, не спешите очень.

– Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набрехано?

– Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами

власти никто не снимал и снять никто не может... Сами заговорите...

– И-их! терпеть я этого не могу, – скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, побледнев как полотно, неожиданно выскочила за двери.

– Ну вот он, – произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея. – Расспрашивайте и его и меня, что вы такое знаете. Может, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что тебе хочется?

Зиновий Борисыч даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолоки Сергея, то на жену, спокойно присевшую со скрещенными руками на краю постели, и ничего не понимал, к чему это близится.

– Что ты это, змея, делаешь? – насилу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла.

– Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо, – отвечала дерзко Катерина Львовна. – Ты меня бойлом задумал пужать, – продолжала она, значительно моргнув глазами, – так не бывать же тому никогда; а что я, может, и допрежь твоих этих обещаниев знала, что над тобой сделать, так я то сделаю.

– Что это? вон! – крикнул Зиновий Борисыч на Сергея.

– Как же! – передразнила Катерина Львовна.

Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман и опять привалилась на постели в своей распашонке.

– Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик, – поманила она к себе приказчика.

– Господи! Боже мой! Да что ж это такое? Что ж вы это, варвары?! – вскрикнул, весь побагровев и поднимаясь с кресла, Зиновий Борисыч.

– Что? Иль не любо? Глянь-ко, глянь, мой ясен сокол, каково прекрасно!

Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея при муже.

В это же мгновение на щеке ее запылала оглушительная пощечина, и Зиновий Борисыч кинулся к открытому окошку.

Глава восьмая

– А... а, так-то!., ну, приятель дорогой, благодарствуй. Я этого только и дожидалась! – вскрикнула Катерина Львовна. – Ну теперь видно уж... будь же по-моему, а не по-твоему...

Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась на мужа и, прежде чем Зиновий Борисыч успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, как сырой конопляный сноп, бросила его на пол.

Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисыч совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисыч сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрёка и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко сжимали его горло.

Зиновий Борисыч не защищался; руки его, с крепко стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катери-

на Львовна придавила к полу коленом.

– Подержи его, – шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу.

Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисыче все последние его силы: он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь закусил зубами его горло. Но это было ненадолго: Зиновий Борисыч тотчас же тяжело застонал и уронил голову.

Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником; в ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелою частью книзу. По виску и щеке Зиновия Борисыча тоненьким шнурочком бежала алая кровь.

– Попа, – тупо простонал Зиновий Борисыч, с омерзением откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея. – Исповедаться, – произнес он еще невнятнее, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь.

– Хорош и так будешь, – прошептала Катерина Львовна. – Ну полно с ним копать, – сказала она Сергею, – перехвати ему хорошенько горло.

Зиновий Борисыч захрипел.

Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сер-

геевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно, будет с него».

Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисыч лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которая, однако, более уже не лилась из запекшейся и заваливающейся волосами ранки.

Сергей снес Зиновия Борисыча в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирал самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалкою с мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисычем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа.

Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку.

– Ну-ка, свети, – сказала она Сергею, идучи к двери. – Ниже, ниже свети, – говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисыча до самой ямы.

Только на двух местах на крашеном полу были два крошечные пятнышка величиною в вишню. Катерина Львовна

потерла их мочалкою, и они исчезли.

– Вот тебе, не лазь к жене воров, не подкарауливай, – произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой.

– Теперь шабаш, – сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса.

Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и, золотя легонько одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны.

По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу.

– Ну вот ты теперь и купец, – сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки.

Сергей ничего ей не ответил.

Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа; зато уж Зиновий Борисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения.

Глава девятая

Сергей ходил, замотав горло пунсовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговаривать. Присядет вечерком с молодцами на лавку около калитки и заведет: «Чтой-то, однако, неправди, ребята, нашего хозяина по сую пору нетути?»

Молодцы тоже дивуются.

А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Ямщик, который его возил, сказывал, что Зиновий Борисыч был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно: не доезжая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису¹ и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздивовались.

Пропал Зиновий Борисыч, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купец как в воду канул. По показанию арестованного ямщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сергеем, по вдовьему положению, на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисыч то там, то там, а

¹ Киса – кожаный затягивающийся мешок, мошна.

Зиновий Борисыч все не возвращался, и Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно.

Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости.

– Наш капитал будет, Сережечка: есть у меня наследник, – сказала она Сергею и пошла жаловаться Думе, что так и так, она чувствует себя, что – беременна, а в делах застой начался: пусть ее ко всему допустят.

Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долгов в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили.

Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уж Сергеем Филипычем стали звать; а тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис Тимофеич торговал не на весь свой капитал, что более, чем его собственных денег, у него в обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю бац – из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком.

– Я, – говорит, – покойному Борису Тимофеичу сестра двоюродная, а это – мой племянник Федор Лямин.

Катерина Львовна их приняла.

Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериною Львовною приезжим, побледнел как плат.

– Чего ты? – спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней.

– Ничего, – отвечал, поворачиваясь из передней в сени, приказчик. – Думаю, сколь эти Ливны дивны, – договорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.

– Ну, а как же теперь быть? – спрашивал Катерину Львовну Сергей Филипыч, сидя с нею ночью за самоваром. – Теперь, Катерина Ильвовна, выходит все наше с вами дело прах.

– Отчего так прах, Сережа?

– Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?

– Неш с тебя, Сережа, мало будет?

– Да не о том, что с меня; а я в тем только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет.

– Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?

– Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то что как вы допрежь сего жили, – отвечал Сергей Филипыч. – А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти.

– Да неш мне это, Сережечка, нужно?

– Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе, ну только для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых,

ужасно это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу.

И пошел и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал и тогда счастью их конца-меры не будет.

Глава десятая

А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или Богу молиться станет, а на уме все у нее одно: «Как же это? за что в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла, – думает Катерина Львовна, – а он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня... И добро бы человек, а то дитя, мальчик...»

На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисыче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая; по городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все неробдица была, все худела да чаврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору да ледок по колдобинкам поламывал.

– Ну, Феодор Игнатьич! ну, купецкий сын! – кричит, бывало, на него, пробегая по двору, кухарка Аксинья. – Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копать?

А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежным козликком и еще без-

мятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или побавил счастья.

Наконец набегал себе Федя ветрянную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали.

Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит.

– Потрудишься, – скажет, – Катеринушка, – ты, мать, сама человек грузный, сама суда Божьего ждешь; потрудишься.

Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всенощной помолиться за «лежащего на одре болезни отрока Феодора» или к ранней обедне часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его, и лекарство ему даст вовремя.

Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник Введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уж обмотался.

Катерина Львовна взшла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает патерик.

– Что ты это читаешь, Федя? – спросила его, усевшись в кресло, Катерина Львовна.

– Житие, тетенька, читаю.

– Занятно?

– Очень, тетенька, занято.

Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было.

«А ведь что, – думалось Катерине Львовне, – ведь больной он; лекарство ему дают... мало ли что в болезни... Только всего и скажу, что лекарь не такое лекарство потрафил».

– Пора тебе, Федя, лекарства?

– Пожалуйте, тетенька, – отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил: – очень занято, тетенька, это о святых описывается.

– Ну читай, – проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах.

– Надо окна велеть закрыть, – сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела.

Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком.

– Закрыли окна? – спросила его Катерина Львовна.

– Закрыли, – отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки.

Водворилось молчание.

– Нонче всенощная не скоро кончится? – спросила Кате-

рина Львовна.

– Праздник большой завтра: долго будут служить, – отвечал Сергей.

Опять вышла пауза.

– Сходить к Феде: он там один, – произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.

– Один? – спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.

– Один, – отвечала она ему шепотом, – а что?

И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни слова.

Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам: везде все тихо; лампы спокойно горят; по стенам разбегается ее собственная тень; закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:

– Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту, с образника, пожалуйста.

Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.

– Ты не заснул ли бы, Федя?

– Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.

– Чего тебе ее ждать?

– Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась.

Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее

протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки.

– Ну! – шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки.

– Что? – спросил едва слышно Сергей и поперхнулся.

– Он один.

Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.

– Пойдем, – порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна.

Сергей быстро снял сапоги и спросил:

– Что ж взять?

– Ничего, – одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.

Глава одиннадцатая

Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз вошла Катерина Львовна.

– Что ты, Федя?

– Ох, я, тетенька, чего-то испугался, – отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели.

– Чего ж ты испугался?

– Да кто это с вами шел, тетенька?

– Где? Никто со мной, миленький, не шел.

– Никто?

Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился.

– Это мне, верно, так показалось, – сказал он.

Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати.

Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она отчего-то совсем бледная.

В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица.

– Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вот угождал Богуто.

Катерина Львовна стояла молча.

– Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю? – ласкался к ней племянник.

– Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю, – ответила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.

В гостиной послышался самый тихий шепот; но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка.

– Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь? – вскрикнул, с слезами в голосе, мальчик. – Идите сюда, тетенька: я боюсь, – еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес к себе.

– Чего боишься? – несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом. – Ляг, – сказала она ему вслед за этим.

– Я, тетенька, не хочу.

– Нет, ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг, – повторила Катерина Львовна.

– Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.

– Нет, ты ложись, ложись, – проговорила Катерина Львовна опять изменившимся, нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.

В это мгновение Федя неистово вскрикнул: он увидел входящего бледного, босого Сергея.

Катерина Львовна захватила своею ладонью раскрытый в

ужасе рот испуганного ребенка и крикнула:

– А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился!

Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на нее своей крепкой, упругой грудью.

Минуты четыре в комнате было могильное молчание.

– Кончился, – прошептала Катерина Львовна и только что привстала, чтобы привести все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов: окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями.

Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать; Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания.

Катерина Львовна боялась, чтобы, гонимый страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом; но он кинулся прямо на вышку.

Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснул лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха.

– Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч! – бормотал он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собою сбитую им с ног Катерину Львовну.

– Где? – спросила она.

– Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять! ай, ай! – закричал Сергей, – гремит, опять гремит.

Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери.

– Дурак! вставай, дурак! – крикнула Катерина Львовна, и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.

Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а через высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора.

Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покои.

Глава двенадцатая

А вся эта тревога произошла вот каким образом: народу на всенощной под двенадесятый праздник во всех церквах хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом тоже из любителей вокального искусства.

Наш народ набожный, к церкви Божией рачительный и по всему этому народ в свою меру художественный: благолепие церковное и стройное «органистое» пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, заводов и сами хозяева с своими половинами, — все собьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пёклом жару или на трескучем морозе послушать, как органист октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки².

В приходской церкви измайловского дома был престол в честь введения во храм Пресвятые Богородицы, и потому ве-

² В Орловской губернии певчие так называют форшляги. (Прим, автора.)

чером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса.

Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами.

– А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают, – заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу, – сказывают, – говорил он, – будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут...

– Это уж всем известно, – отвечал тулуп, крытый синей нанкой. – Ее нонче и в церкви, знать, не было.

– Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что уж ни Бога, ни совести, ни глаз людских не боится.

– А ишь, у них вот светится, – заметил машинист, указывая на светлую полосу между ставнями.

– Глянь-ка в щелочку, что там делают? – цыкнули несколько голосов.

Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул:

– Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат!

И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Челю-

век десять последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками.

Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада измайловского дома.

– Видел сам, собственными моими глазами видел, – свидетельствовал над мертвым Федею машинист, – младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.

Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых.

В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федею и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Федеи лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о Страшном суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не токмо в убийстве Федеи, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую

хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признания, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала:

– Если ему охота была это сказывать, так мне запираться нечего: я убила.

– Для чего же? – спрашивали ее.

– Для него, – отвечала она, показав на повесившего голову Сергея.

Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетью на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками.

Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изо-

рванной спине.

Даже в осторожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его совсем!» и, отворотясь к стене, без всякого стога, без всякой жалобы повалилась грудью на жесткую койку.

Глава тринадцатая

Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице «ярко светило, да не тепло грело».

Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакою своею частию на ребенка.

Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей: она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться с своим Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.

Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованный цепями, клейменный Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота.

Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает и в каждом положении он сохраняет

по возможности способность преследовать свои скудные радости; но Катерине Львовне не к чему было и приспособляться: она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастьем.

Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора.

Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков: что ей ни скажет, как оторвет; тайными свиданьями с ней, за которые та не евши и не пивши отдает самой ей нужный четвертачок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз говаривал:

– Ты замест того, чтобы углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала.

– Четвертачок всего, Сереженька, я дала, – оправдывалась Катерина Львовна.

– А четвертачок неш не деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четвертачков, а рассовала уж, чай, немало.

– За то же, Сережа, видались.

– Ну, легко ли, радость какая после этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклял бы, а не то что свидание.

– А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя видеть.

– Глупости все это, – отвечал Сергей.

Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады наворачивались в темноте ночных свиданий; но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать.

Таким образом в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партией, следовавшею в Сибирь с московского тракта.

В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица: одна – солдатка Фиона из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокого роста, с густою черною косою и томными карими глазами, как таинственной фатой завешенными густыми ресницами; а другая – семнадцатилетняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русскими кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрядинной повязки. Девочку эту в партии звали Сонеткой.

Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчился, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя.

– Тетка Фиона у нас баба добреющая, никому от нее обиды нет, – говорили шутя арестанты в один голос.

Но Сонетка была совсем в другом роде.

Об этой говорили:

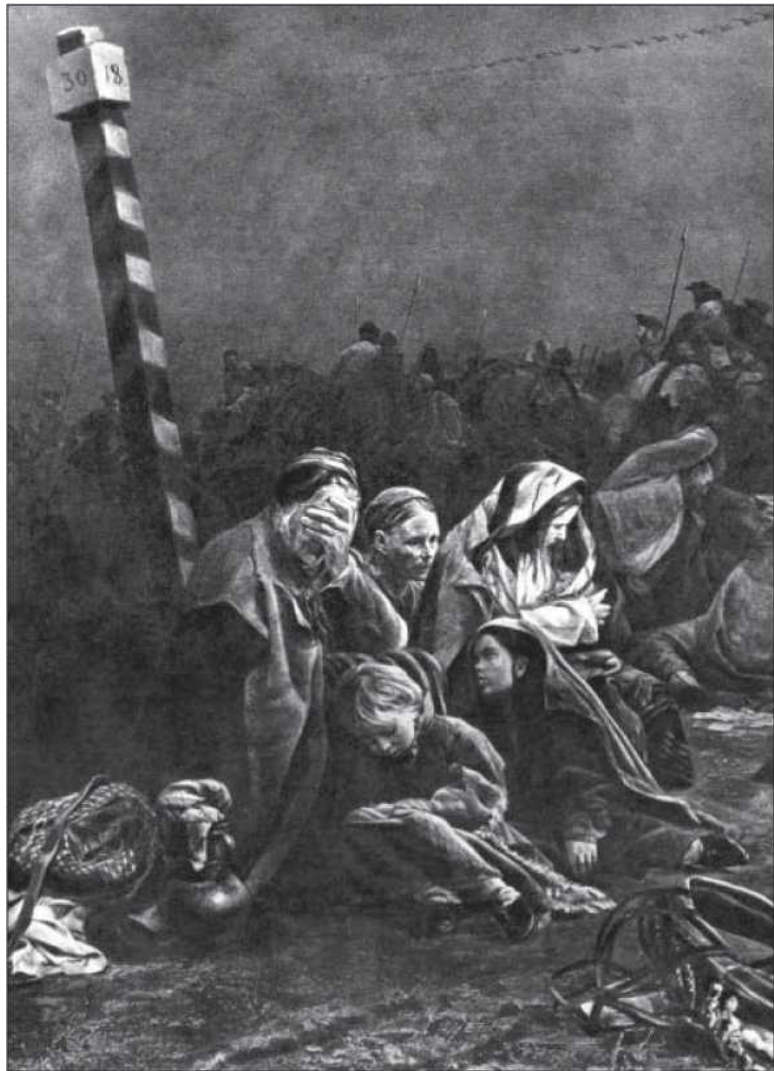
– Выюн: около рук вьется, а в руки не дается.

Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантную, пряную приправу, с страданиями и с жертвами; а Фиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь: «прочь поди» и которая знает только одно, что она баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах.

Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем и Катериной Львовной имело для последней трагическое значение.

Глава четырнадцатая

С первых же дней совместного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположения солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе, посредством подкупа, свидание с Сережечкой и лежит не спит: все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундрок, тихонько толкнет ее и шепнет: «беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с нар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка; наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого.



Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном слепую площадку, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей слышался сдержанный хохот.

– Ишь жируют, – буркнул провожатый Катерины Львовны и, придерживав ее за плечи, ткнул в уголок и удалился.

Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ее рука коснулась жаркого женского лица.

– Кто это? – спросил вполголоса Сергей.

– А ты чего тут? с кем ты это?

Катерина Львовна дернула впотьмах повязку с своей соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела.

Из мужской камеры раздался дружный хохот.

– Злодей! – прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги.

Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против площадки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул:

– Цыц!

Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: «не люблю ж его», и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, все рисуется, как ладонь его дрожала у той под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи.

Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи.

– Ну, иначе, дай же ты мне мою повязку, – побудила ее утром солдатка Фиона.

– А, так это ты?..

– Отдай, пожалуйста!

– А ты зачем разлучаешь?

– Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее Фионе, повернулась к стенке.

Ей стало легче.

– Тьпфу, – сказала она себе, – неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану? Сгинь она! Мне и применять-то себя к ней скверно.

– А ты, Катерина Ильвовна, вот что, – говорил, идучи на-завтра дорогою, Сергей, – ты, пожалуйста, разумеи, что один

раз я тебе не Зиновий Борисыч, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: так ты не пышишь, сделай милость. Козьи рога у нас в торг нейдут.

Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла, с Сергеем ни словом, ни взглядом не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем.

Между тем этой порою, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой Сонеткой. То раскланивается ей «с нашим особенным», то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только пуще у нее сердце кипит.

«Уж помириться бы мне с ним, что ли?» – рассуждает, спотыкаясь и земли под собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо, гордость не позволяет. А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за Сонеткой, и уж всем сдается, что недоступная Сонетка, которая все выюном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала.

– Вот ты на меня плакалась, – сказала как-то Катерине Львовне Фиона, – а я что тебе сделала? Мой случай был, да и прошел, а ты вот за Сонеткой-то глядела б.

«Пропади она, эта моя гордость: непременно нонче же помирюсь», – решила Катерина Львовна, размышляя уж только

об одном, как бы только ловчей взяться за это примирение.

Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей.

– Ильвовна! – позвал он ее на привале. – Выдь ты нонче ко мне на минуточку ночью: дело есть.

Катерина Львовна промолчала.

– Что ж, может, сердишься еще – не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не ответила.

Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеек, собранных от мирского подаяния.

– Как только соберу, я вам додам гривну, – упрашивала Катерина Львовна.

Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал:

– Ладно.

Сергей, когда кончились эти переговоры, крикнул и подмигнул Сонетке.

– Ах ты, Катерина Ильвовна! – говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома. – Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет.

Катерина Львовна и краснела и задыхалась от счастья.

Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, она так и выскочила: дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору.

– Катя моя! – произнес, обняв ее, Сергей.

– Ах ты, злодей ты мой! – сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему губами.

Часовой ходил по коридору, и, останавливаясь, плевал на свои сапоги, и ходил снова, за дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо, под печью, взапуски друг перед другом, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.

– Смерть больно: от самой от щиколотки до самого колена кости так и гудут, – жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу коридора.

– Что же делать-то, Сережечка? – расспрашивала она, ютясь под полу его свиты.

– Нетто только в лазарет в Казани попрошусь?

– Ох, чтой-то ты, Сережа?

– А что ж, когда смерть моя больно.

– Как же ты останешься, а меня погонят?

– А что ж делать? трет, так, я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не въедается. Разве когда б шерстяные чулки, что ли, поддеть еще, – проговорил Сергей спустя минуту.

– Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.

– Ну, на что! – отвечал Сергей.

Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парюю толстых синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку.

– Эдак теперь ничего будет, – произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крепко заснула.

Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Сонетка и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром.

Это случилось всего за два перехода до Казани.

Глава пятнадцатая

Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветно встретил партию, выступавшую за ворота душевного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно; все суставы ее занули и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Сонетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками.

Катерина Львовна двинулась в путь совсем неживая; только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали.

На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза.

Сергей хотел на нее броситься; но его удержали.

– Погоди ж ты! – произнес он и обтерся.

– Ничего, однако, отважно она с тобой поступает, – трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсем в ее вкусе.

– Ну, это ж тебе так не пройдет, – грозился Катерине Львовне Сергей.

Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с

разбитою душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека.

С приходом их с нар приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одною суровою рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха: на плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки.

– Пятьдесят, – сосчитал, наконец, один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскутала голову и вскочила: никого не было; только невдалеке кто-то злорадно хихикал под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Сонетки.

Обиде этой уже не было меры; не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь подхватившей ее Фионы.

На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она те-

перь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны: они обе были сравнены в цене и обе брошены.

Они равны!., подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку.

Барабан бьет: тах-тарарах-тах; на двор вываливают скованные и нескованные арестантики, и Сергей, и Фиона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольник, скованный с жидом, и поляк на одной цепи с татаринном.

Все сгучились, потом выровнялись кое в какой порядок и пошли.

Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные, мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет.

В этих адских, душу раздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри».

Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смер-

ти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воюющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и без того, он становится зол сугубо.

– Что, купчиха? Все ли ваше степенство в добром здоровье? – нагло спросил Катерину Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала.

С этими словами он, сейчас же обратясь к Сонетке, pokrыл ее своею полою и запел высоким фальцетом:

За окном в тени мелькает русая головка.

Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.

Я полой тебя прикрою, так что не заметят.

При этих словах Сергей обнял Сонетку и громко поцеловал ее при всей партии...

Катерина Львовна все это видела и не видала: она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали поталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Сонеткой. Она стала предметом насмешек.

– Не троньте ее, – заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающеюся Катериной Львовною. – Нешто не видите, черти, что женщина больна совсем?

– Должно, ножки промочила, – острил молодой арестант.

– Известно, купеческого роду: воспитания нежного, – отозвался Сергей.

– Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще, – продолжал он.

Катерина Львовна словно проснулась.

– Змей подлый! – произнесла она, не стерпев, – насмехайся, подлец, насмехайся!

– Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что вот Сонетка чулки больно гожие продает, так я только думал: не купит ли, мол, наша купчиха.

Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат.

Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса – Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны.

Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома.

Подошел весь мокрый, темный паром; команда начала размещать арестантов.

– На этом пароме, сказывают, кто-то водку держит, – заметил какой-то арестант, когда осыпaeмый хлопьями мокро-

го снега паром отчалил от берега и закачался на валах расходящейся реки.

– Да, теперь ба точно безделицу пропустить ничего, – отзывался Сергей и, преследуя для Сонеткиной потехи Катерину Львовну, произнес: – Купчиха, а ну-ко по старой дружбе угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали, осенние долги ночи просиживали, твоих родных без попов и без дьяков на вечный покой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела как в огне; зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены в ходящие волны.

– Ну а водочки и я б уж выпила: мочи нет холодно, – прозвенела Сонетка.

– Купчиха, да угости, что ль! – мозолил Сергей.

– Эх ты, совесть! – выговорила Фиона, качая с упреком головою.

– Не к чести твоей совсем это, – поддержал солдатку арестантик Гордюшка.

– Хушь бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился.

– Ну ты, мирская табакерка! – крикнул на Фиону Сергей. – Тоже – совеститься! Что мне тут еще совеститься! я ее, мо-

жет, и никогда не любил, а теперь... да мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной: так что ж ты мне против этого говорить можешь? Пусть вон Гордюшку косоротого любит; а то... – он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил: – А то вон еще лучше к этапному пусть поластится: у него под буркой по крайности дождем не пробирает.

– И все б офицершей звать стали, – прозвенела Сонетка.

– Да как же!., и на чулочки-то б шутя бы достала, – подержал Сергей.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут: «как мы с тобой погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали».

Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту – и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекину-

лась с нею за борт парома.

Все окаменели от изумления.

Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула; другая волна вынесла Сонетку.

– Багор! бросай багор! – закричали на пароме.

Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками; но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались.

Воительница

Очерк

*Вся жизнь моя была досель
Нравоучительною школой,
И смерть есть новый в ней урок.*

Ап. Майков

Глава первая

– Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты, батюшка мой, со мною, сделай милость, не спорь!

– Да отчего это, Домна Платоновна, не спорить-то? Что вы это, в самом деле, за привычку себе взяли, что никто против вас уж и слова не смей пикнуть?

– Нет, это не я, а вы-то все что себе за привычки позволяете, что обо всем сейчас готовы спорить! погоди еще, брат, поживи с мое, да тогда и спорь; а пока человек жил мало или всех петербургских обстоятельств как следует не понимает, так ему – мой совет – сидеть да слушать, что говорят другие, которые постарше и эти обстоятельства знают.

Этак каждый раз останавливала меня моя добрая приятельница, кружевница Домна Платоновна, когда я в чем-ни-

будь не соглашался с ее мнениями о свете и людях. Этак же она останавливала и всякого другого из своих знакомых, если кто из них как-нибудь дерзал выражать какие-нибудь свои замечания, несогласные с убеждениями Домны Платоновны. А знакомство у Домны Платоновны было самое обширное, по собственному ее выражению даже «необъятное» и притом самое разнокалиберное. Приказчики, графы, князья, камер-лакеи, кухмистеры, актеры и купцы именитые – словом, всякого звания и всякой породы были у Домны Платоновны знакомые, а что про женский пол, так о нем и говорить нечего. Домна Платоновна женским полом даже никогда не хвалилась.

– Женский пол, – говорила она, когда так уже к слову выпадет, – мне вот как он мне весь известен!

При этом Домна Платоновна сожмет, бывало, горсть и показывает.

– Вот он, – говорит, – женский-то пол где у меня, весь в одном суставе сидит.

Столь обширное и разнообразное знакомство Домны Платоновны, составленное ею в таком городе, как Петербург, было для многих предметом крайнего удивления, и эти многие даже с некоторым благоговейным страхом спрашивали:

– Домна Платоновна! как это вы, матушка?..

– Что такое?

– Да что – вы со всеми знакомы?

– Да, мой друг, со всеми; почти решительно со всеми.

– Какими же это случаями и по какой причине...

– А все своей простотой, решительно одной простотой, – отвечает Домна Платоновна.

– Будто одной простотой!

– Да, друг мой, все меня любят, потому что я проста необыкновенно, и через эту свою простоту да через доброту много я на свете видела всякого горя; много я обид приняла; много клеветы всяческой оттерпела и не раз даже, сказать тебе, была бита, чтобы так не очень бита, но в конце всего люди любят.

– Ну, уж за то же и свет вы хорошо знаете.

– А уж что, мой друг, свет этот подлый я знаю, так точно знаю. На ладонке вот теперь, кажется, каждую шельму вижу. Только опять тебе скажу – нет... – добавит, смущаясь и задумываясь, Домна Платоновна.

– Что ж еще такое?

– А то, друг мой, – отвечает она, вздохнувши, – что нынче все новое выдумывают, и еще больше всякий человек ухитряется.

– Как же и чем он ухитряется, Домна Платоновна?

– А так и ухитряется, что ты его нынче, человека-то, с головы поймашь, а он, гляди, к тебе с ног подходит. Удивительно это даже, ей-богу, как это сколько пошло обманов да выдумок: один так выдумывает, а другой еще лучше того превзойти хочет.

– Будто уж таки везде один обман на свете, Домна Плато-

новна?

– Да уж нечего тебе со мною спорить: на чем же, по-твоему, нынешний свет-то стоит? – на обмане да на лукавстве.

– Ну есть же все-таки и добрые люди на свете.

– На кладбищах, между родителей, может быть, есть и добрые; ну, только проку-то по ним мало; а что уж из живой-то из всей нынешней сволочи – все одно качество: отврат да и только.

– Что ж это так, Домна Платоновна, по-вашему выходит, что всё уж теперь плут на плуте и никому уж и верить нельзя?

– А ведь это, батюшка, никому не запрещено, верить – то; верь, сделай одолжение, если тебя охота берет. Я вон генеральше Шемельфеник верила; двадцать семь аршин кружевов ей поверила, да пришла анамедни, говорю: «Старый должок, ваше превосходительство, позвольте получить», а она говорит: «Я тебе отдала». – «Никак нет, – говорю, – никогда я от вас этих денег не получала», а она еще как крикнет: «Как ты, – говорит, – смеешь, мерзавка, мне так отвечать? Вон ее!» – говорит. Лакей меня сейчас ту ж минуту под ручки, да и на солнышко, да еще штучку кружевцов там позабыла (спасибо, дешевенькие). Вот ты им и верь.

– Ну, что ж, – говорю, – ведь это одна ж такая!

– Одна! нет, батюшка, не одна, а легион им имя-то сказывается. Это ведь в первые времена-то, как крестьяне у дворян были, ну точно, что в тогдашнее время воровство будто до низкого сословия все больше принадлежало; а как нонче,

когда крестьян не стало, господа и сами тоже этим ничуть не гнушаются. Всем ведь известно, какое лицо на бале бриллиантовое колью сфендрил... Да, милый, да, нынче никто не спускает. Вон тоже Караулова Авдотья Петровна, поглядеть на нее, чем не барыня? а воротничок на даче у меня в глазах украла.

– Как, – говорю, – украла? Что вы это! Матушка Домна Платоновна, вспомните, что вы говорите-то? Как это даме красть?

– А так себе просто; как крадут, так и украла. Еще ты то скажи, что я это ту ж самую минуту заметила и вежливо, политично ей говорю: «Извините, – говорю, – сударыня, не обронила ли я здесь воротничка, потому что воротничка, – говорю, – одного нет». Так она сейчас на эти слова хватить меня по наружности и отпечатала. «Вывесть ее!» – говорит лакею; очень просто – и вывели.

Говорю лакею: «Милосливый государь! сам ты, – говорю, – служащий человек, сам, – сказываю, – посуди, голубчик, ведь свое, ведь жалко мне!» А он мне в ответ: «Что, – говорит, – жалко, когда у нее привычка такая!» Вот тебе только всего и сказу. Она теперь в своем звании всякие привычки себе позволяет, а ты, бедный человек, молчи.

– И что ж вы изо всего этого, Домна Платоновна, выводите?

– А что, батюшка, мне выводить! Не мое дело никого выводить, когда меня самоё выводят; а что народ плут и весь

плутом взялся, против этого ты со мной, пожалуйста, лучше не спорь, потому я уж, слава тебе Господи, я нонче только взгляну на человека, так вижу, что он в себе замыкает.

И попробовали бы вы после этого Домне Платоновне возражать! Нет, уж какой вы там ни будьте диалектик, а уж Домна Платоновна вас все-таки переспорит; ничем ее не убедите. Одно разве: приказали бы ее вывести: ну, тогда другое дело, а то непременно переспорит.

Глава вторая

Я непременно должен отрекомендовать моим читателям Домну Платоновну как можно подробнее.

Домна Платоновна росту невысокого, и даже очень невысокого, а скорее совсем низенькая, но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит оттого, что Домна Платоновна, как говорят, воперек себя шире, и чем вверх не доросла, тем вширь берет. Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больною не помнит и на вид она гора горою ходит; одна грудь так такое из себя представляет, что даже ужасно, а сама она, Домна Платоновна, все жалуется.

– Дама я, – говорит, – из себя хотя, точно, полная, но настоящей крепости во мне, как в других прочих, никакой нет, и сон у меня самый страшный сон – аридов. Чуть я лягу, сейчас он меня сморит, и хоть ты после этого возьми меня да воробьям на пугало выставь, пока вволю не высплюсь – ничего не почувствую.

Могучий сон свой Домна Платоновна также считала одним из недугов своего полного тела и, как ниже увидим, немало от него перенесла горестей и несчастий.

Домна Платоновна очень любила прибегать к медицинским советам и в подробности описывать свои немощи, но лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские

капли, которые называла «гаремскими каплями» и пузырек с которыми постоянно носила в правом кармане своего шелкового капота. Лет Домне Платоновне, по ее собственному показанию, все вертелось около сорока пяти, но по свежести ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать более сорока. Волосы у Домны Платоновны в пору первого моего с нею знакомства были темно-коричневые – седого тогда еще ни одного не было заметно. Лицо у нее белое, щеки покрыты здоровым румянцем, которым, впрочем, Домна Платоновна не довольствуется и еще покупает в Пассаже, по верхней галерее, такие французские карточки, которыми усиливает свой природный румянец, не поддавшийся до сих пор никаким горестям, ни финским ветрам и туманам. Брови у Домны Платоновны словно как будто из черного атласа наложены: черны несказанно и блестят ненатуральным блеском, потому что Домна Платоновна сильно наводит их черным фиксатуром и вытягивает между пальчиками в шнурочек. Глаза у нее как есть две черные сливы, окрапленные возбуждающей утренней росой. Один наш общий знакомый, пленный турок Испулат, привезенный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Так, бывало, и заколотится как бесноватый, так и закричит:

– Ай грецкая глаза, совсем грецкая!

Другая на месте Домны Платоновны, разумеется, за честь бы себе такой отзыв поставила; но Домна Платоновна нико-

гда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрешимо русское происхождение.

– Врешь ты, рожа твоя некрещеная! врешь, лягушка ты пузастая! – отвечает она, бывало, весело турку. – Я своего собственного поколения известного; да и у нас в своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет, и никогда их там не было.

Нос у Домны Платоновны был не нос, а носик, такой небольшой, стройненький и пряменький, какие только ошибкой иногда зарождаются на Оке и на Зуше. Рот у нее был-таки великонец: видно было, что круглою ложкою в детстве кушала; но рот был приятный, такой свеженький, очертание правильное, губки алые, зубы как из молодой редьки вырезаны – одним словом, даже и не на острове необитаемом, а еще даже и среди града многолюдного с Домной Платоновной поцеловаться охотнику до поцелуев было весьма незлвключительно. Но высшую прелесть лица Домны Платоновны, бесспорно, составляли ее персиковый подбородок и общее выражение, до того мягкое и детское, что если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить: как таки, при этой бездне простодушия, разлитой по всему лицу Домны Платоновны, с языка ее постоянно не сходит речь о людском ехидстве и злобе? – так вы бы непременно сказали себе: будь ты, однако, Домна Платоновна, совсем от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне по твоей милости задачи приходят!

Нрава Домна Платоновна была самого общительного, веселого, доброго, необидчивого и простодушно-суеверного. Характер у нее был мягкий и сговорчивый; натура в основании своем честная и довольно прямая, хотя, разумеется, была у нее, как у русского человека, и маленькая лукавинка. Труд и хлопоты были сферою, в которой Домна Платоновна жила безвыходно. Она вечно суетилась, вечно куда-то бежала, о чем-то думала, что-то такое соображала или приводила в исполнение.

– На свете я живу одним-одна, одною своею душенькой, ну а все-таки жизнь, для своего пропитания, веду самую прекратительную, – говорила Домна Платоновна. – Мычусь я, как угорелая кошка по базару; и если не один, то другой меня за хвост беспрестанно так и ловят.

– Всех дел ведь сразу не переделаете, – скажешь ей, бывало.

– Ну, всех, хоть не всех, – отвечает, – а все же ведь ужасно это как, я тебе скажу, отяготительно, а пока что прощай – до свиданья: люди ждут, в семи местах ждут, – и сама действительно так и побежит скороходью.

Домна Платоновна нередко и сама сознавала, что она не всегда трудится для своего единого пропитания и что отяготительные труды ее и ее прекратительная жизнь могли бы быть значительно облегчены без всякого ущерба ее прямым интересам; но никак она не могла воздержать свою хлопотливость.

– Завистна уж я очень на дело; сердце мое даже взиграет, как вижу, дело какое есть.

Завистна Домна Платоновна именно была только на хлопоты, а не на плату. К заработку своему, напротив, она иногда относилась с каким-то удивительным равнодушием.

«Обманул, варвар!» или «обманула, варварка!», бывало, только от нее и слышишь, а глядишь, уж и опять она бегаёт и распинается для того же варвара и для той же варварки, вперед предсказывая самой себе, что они и опять непременно надуют.

Хлопоты у Домны Платоновны были самые разнообразные. Официально она точно была только кружевница, то есть мещанки, бедные купчихи и поповны насылали ей «из своего места» разные воротнички, кружева и манжеты: она продавала эти произведения вразнос по Петербургу, а летом по дачам, и вырученные деньги, за удержанием своих процентов и лишков, высылала «в свое место». Но, кроме кружевной торговли, у Домны Платоновны были еще другие private дела, при орудовании которых кружева и воротнички играли только роль пропускного вида.

Домна Платоновна сватала, приискивала женихов невестам, невест женихам; находила покупателей на мебель, на надеванные дамские платья; отыскивала деньги под заклады и без закладов; ставила людей на места вкупно от гувернерских до дворнических и лакейских; заносила записочки в самые известные салоны и будуары, куда городская почта и по-

думать не смеет проникнуть, и приносила ответы от таких дам, от которых несет только крещенским холодом и благочестием.

Но, несмотря на все свое досужество и связи, Домна Платоновна, однако, не озолотилась и не осеребрилась. Жила она в достатке, одевалась, по собственному ее выражению, «поважно» и в куске себе не отказывала, но денег все-таки не имела, потому что, во-первых, очень она зарывалась своей завистностью к хлопотам и часто ее добрые люди обманывали, а потом и с самыми деньгами у нее выходили какие-то мудреные оказии.

Главное дело, что Домна Платоновна была художница – увлекалась своими произведениями. Хотя она рассказывала, что все это она трудится из-за хлеба насущного, но все-таки это было несправедливо. Домна Платоновна любила свое дело как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих – вот что было главное, и за этим просматривались и деньги и всякие другие выгоды, которых особа более реалистическая ни за что бы не просмотрела.

Впала в свою колею Домна Платоновна ненароком. Сначала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помышляла о сопряжении с этим промыслом каких бы то ни было других занятий: но столица волшебная преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким я знавал драгоценную Домну Платоновну.

Стала Домна Платоновна смекать на все стороны и про-

никать всюду. Пошло это у нее так, что не проникнуть куда бы то ни было Домне Платоновне было даже невозможно: всегда у нее на рученьке вышитый саквояж с кружевами, сама она в новеньком шелковом капоте; на шее кружевной воротничок с большими городками, на плечах голубая французская шаль с белой каймою; в свободной руке белый, как кипень, голландский платочек, а на голове либо фиолетовая, либо серизовая гроденаплевая повязочка, ну, одним словом, прелесть дама. А лицо! – само смиренство и благочестие. Лицом своим Домна Платоновна умела владеть, как ей угодно.

– Без этого, – говорила она, – никак в нашем деле и невозможно: надо виду не показать, что ты Ананья или каналья.

К тому же и обращение у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как другие, что «была, дескать, я во всенародной бане», а выразится, что «имела я, сударь, счастье вчера быть в бестелесном маскараде»; о беременной женщине ни за что не брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а скажет: «она в своем марьяжном интересе», и тому подобное.

Вообще была дама с обращением и, где следовало, умела задать тону своей образованностью. Но, при всем этом, надо правду сказать, Домна Платоновна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патриотка. По узости политического горизонта Домны Платоновны и самый патриотизм ее был самый узкий, то есть она считала себя обя-

занною хвалить всем Орловскую губернию и всячески привечать и обласкивать каждого человека «из своего места».

– Скажи ты мне, – говорила она, – что это такое значит: знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма из своего места, будь ты хуже турки Испулатки лупоглазого, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна?

Я ей на это отвечать не умел. Только, бывало, оба удивляемся:

– Отчего это в самом деле?

Глава третья

Мое знакомство с Домной Платоновной началось по пустому поводу. Жил я как-то на квартире у одной полковницы, которая говорила на шести европейских языках, не считая польского, на который она сбивалась со всякого. Домна Платоновна знала ужасно много таких полковниц в Петербурге и почти для всех их обдeldывала самые разнообразные делишки: сердечные, карманные и совокупно карманно-сердечные и сердечно-карманные. Моя полковница была, впрочем, действительно дама образованная, знала свет, держала себя как нельзя приличнее, умела представить, что уважает в людях их прямые человеческие достоинства, много читала, приходила в неподдельный восторг от поэтов и любила декламировать из «Марии» Мальчевского:

Bo na tym swiecie smierc wszystko zmiecie,
Robak sie legnie i w bujnym kwiecie.³

Я видел Домну Платоновну первый раз у своей полковницы. Дело было вечером; я сидел и пил чай, а полковница декламировала мне:

³ Потому что на этом свете смерть все уничтожит. И в пышном цветке гнездится червяк. (Перевод автора.)

Bo na tym swiecie smierc wszystko zmiecie,
Robak sie legnie i w bujnym kwiecie

Домна Платоновна вошла, помолилась Богу, у самых дверей поклонилась на все стороны (хотя, кроме нас двух, в комнате никого и не было), положила на стол свой саквояж и сказала:

– Ну вот, мир вам, и я к вам!

В этот раз на Домне Платоновне был шелковый коричневый капот, воротничок с язычками, голубая французская шаль и серизовая гроденаплевая повязочка, словом, весь ее мундир, в котором читатели и имеют представлять ее теперь своему художественному воображению.

Полковница моя очень ей обрадовалась и в то же время при появлении ее будто немножко покраснела, но приветствовала Домну Платоновну дружески, хотя и с немалым тактом.

– Что это вас давно не видно было, Домна Платоновна? – спрашивала ее полковница.

– Всё, матушка, дела, – отвечала, усаживаясь и осматривая меня, Домна Платоновна.

– Какие у вас дела!

– Да ведь вот тебе, да другой такой-то, да третьей, всем

вам кортит, всем и угодить надо; вот тебе и дела.

– Ну, а то дело, о котором ты меня просила-то, помнишь... – начала Домна Платоновна, хлебнув чайку. – Была я намедни... и говорила...

Я встал проститься и ушел.

Только всего и встречи моей было с Домной Платоновной. Кажется, знакомству бы с этого завязаться весьма трудно, а оно, однако, завязалось.

Сижу я раз после этого случая дома, а кто-то стук-стук-стук в двери.

– Войдите, – отвечаю, не оборачиваясь.

Слышу, что-то широкое вползло и ворочается. Оглянулся – Домна Платоновна.

– Где ж, – говорит, – милостивый государь, у тебя здесь образ висит?

– Вон, – говорю, – в угле, над шторой.

– Польский образ или наш, христианский? – опять спрашивает, приподнимая потихоньку руку.

– Образ, – отвечаю, – кажется, русский.

Домна Платоновна закрыла глаза горсточкой, долго всматривалась в образ и наконец махнула рукою – дескать: «все равно!» – и помолилась.

– А узелочек мой, – говорит, – где можно положить? – и оглядывается.

– Положите, – говорю, – где вам понравится.

– Вот тут-то, – отвечает, – на диване его пока положу.

Положила саквояж на диван и сама села.

«Милый гость, – думаю себе, – бесцеремонливый».

– Этакие нынче образки маленькие, – начала Домна Платоновна, – в моду пошли, что ничего и не рассмотришь. Во всех это у аристократов всё маленькие образки. Как это нехорошо.

– Чем же это вам так не нравится?

– Да как же: ведь это, значит, они Бога прячут, чтоб совсем и не найти его.

Я промолчал.

– Да право, – продолжала Домна Платоновна, – образ должен быть в свою меру.

– Какая же, – говорю, – мера, Домна Платоновна, на образ установлена? – и сам, знаете, вдруг стал чувствовать себя с ней как со старой знакомой.

– А как же! – возговорила Домна Платоновна, – посмотри-ка ты, милый друг, у купцов: у них всегда образ в своем виде, ланпад и сияние... все это как должно. А это значит, господа сами от Бога бежат, и Бог от них далече. Вот нынче на святой была я у одной генеральши... и при мне камердинер ее входит и докладывает, что священники, говорит, пришли.

«Отказать», – говорит.

«Зачем, – говорю ей, – не отказывайте – грех».

«Не люблю, – говорит, – я попов».

Ну что ж, ее, разумеется, воля; пожалуй себе отказывай,

только ведь ты не любишь посланного; а тебя и пославший любить не будет.

– Вон, – говорю, – какая вы, Домна Платоновна, рассудительная!

– А нельзя, – отвечает, – мой друг, нынче без рассуждения. Что ты сколько за эту комнату платишь?

– Двадцать пять рублей.

– Дорого.

– Да и мне кажется дорого.

– Да что ж, – говорит, – не переедешь?

– Так, – говорю, – возиться не хочется.

– Хозяйка хороша.

– Нет, полноте, – говорю, – что вы там с хозяйкой.

– Ц-ты! Говори-ка, брат, кому-нибудь другому, да не мне; я знаю, какие все вы, шельмы.

«Ничего, – думаю, – отлично ты, гостя дорогая, выражаешься».

– Они, впрочем, полячки-то эти ловкие тоже, – продолжала, зевнув и крестя рот, Домна Платоновна, – они это с рассуждением делают.

– Напрасно, – говорю, – вы, Домна Платоновна, так о моей хозяйке думаете: она женщина честная.

– Да тут, друг милый, и бесчестия ей никакого нет: она человек молодой.

– Речи ваши, – говорю, – Домна Платоновна, умные и справедливые, но только я-то тут ни при чем.

– Ну, был ни при чем, стал городничьбм; знаю уж я эти петербургские обстоятельства, и мне толковать про них нечего.

«И вправду, – думаю, – тебя, матушка, не разуверишь».

– А ты ей помогай – плати, мол, за квартиру-то, – говорила Домна Платоновна, пригинаясь ко мне и ударяя меня слегка по плечу.

– Да как же, – говорю, – не платить?

– А так – знаешь, ваш брат, как осетит нашу сестру, так и норовит сейчас все на ее счет...

– Полноте, что это вы! – останавливаю Домну Платоновну.

– Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в любви-то куда ведь она глупа: «на, мой сокол, тебе», готова и мясо с костей срезать да отдать; а ваш брат шаматон этим и пользуется.

– Да полноте вы, Домна Платоновна, какой я ей любовник.

– Нет, а ты ее жалеешь. Ведь если так-то посудить, ведь жалка, ей-богу же, друг мой, жалка наша сестра! Нашу сестру уж как бы надо было бить да драть, чтоб она от вас, поганцев, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, за мудрено сотворено, что мир весь этими соглядатаями, мужчинами преисполнен!.. На что они? А опять посмотришь, и без них все будто как скучно; как будто под иную пору словно тебе и недостает чего. Черта в стуле, вот чего недостает! – рассердилась Домна Платоновна, плюнула и продолжала: – Я вон так-то раз прихожу к полковнице Домуховской... не знавал ты ее?

– Нет, – говорю, – не знавал.

– Красавица.

– Не знаю.

– Из полячек.

– Так что ж, – говорю, – разве я всех полячек по Петербургу знаю?

– Да она не из самых настоящих полячек, а крещеная, – нашей веры!

– Ну, вот и знай ее, какая такая есть госпожа Домуховская не из самых полячек, а нашей веры. Не знаю, – говорю, – Домна Платоновна; решительно не знаю.

– Муж у нее доктор.

– А она полковница?

– А тебе это в диковину, что ль?

– Ну-с, ничего, – говорю, – что же дальше?

– Так она с мужем-то с своим, понимаешь, попштыкалась.

– Как это попштыкалась?

– Ну, будто не знаешь, как, значит, в чем-нибудь не уговорились, да сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны. Так и сделала эта Леканидка.

«Очень, – говорит, – Домна Платоновна, он у меня нравен».

Я слушаю да головой качаю.

«Капризов, – говорит, – я его сносить не могу; нервы мои, – говорит, – не выносят».

Я опять головой качаю. «Что это, – думаю, – у них нервы

за стервы, и отчего у нас этих нервов нет?»

Прошло этак с месяц, смотрю, смотрю – моя барыня квартиру сняла: «жильцов, – говорит, – буду пушать».

«Ну что ж, – думаю, – надоело играть косточкой, покатай желвачок; не умела жить за мужней головой, так поживи за своей: пригонит мужа и к поганой луже, да еще будешь пить да похваливать».

Прихожу к ней опять через месяц, гляжу – жилец у нее есть, такой из себя мужчина видный, ну только худой и этак немножко осповат.

«Ах, – говорит, – Домна Платоновна, какого мне Бог жильца послал – деликатный, образованный и добрый такой, всеми моими делами занимается».

«Ну, деликатиться-то, мол, они нынче все уж, матушка, выучились, а когда во все твои дела уж он взошел, так и на что ж того и законней?»

Я это смеюсь, а она, смотрю, пых-пых, да и спламенела.

Ну, мой суд такой, что всяк себе как знает, а что если только добрый человек, так и умные люди не осудят и Бог простит. Заходила я потом еще раза два, все застаю: сидит она у себя в каморке да плачет.

«Что так, – говорю, – мать, что рано соленой водой умываться стала?»

«Ах, – говорит, – Домна Платоновна, горе мое такое», – да и замолчала.

«Что, мол, – говорю, – такое за горе? Иль живую рыбку

сьела?»

«Нет, – говорит, – ничего такого, слава Богу, нет».

«Ну, а нет, – говорю, – так все другое пустяки».

«Денег у меня ни грошика нет».

«Ну, это, – думаю, – уж действительно дрянь дело; но знаю я, что человека в такое время не надо печалить».

«Денег, – говорю, – нет – перед деньгами. А жильцы ж твои», – спрашиваю.

«Один, – говорит, – заплатил, а то пустые две комнаты».

«Вот уж эта мерзость запустения, – говорю, – в вашем деле всего хуже. Ну, а дружок-то твой?» Так уж, знаешь, без церемонии это ее спрашиваю.

Молчит, плачет. Жаль мне ее стало: слабая, вижу, неразумная женщина.

«Что ж, – говорю, – если он наглец какой, так и вон его».

Плачет на эти слова, ажно платок мокрый за кончики зубами щипет.

«Плакать, – говорю, – тебе нечего и убиваться из-за них, из-за поганцев, тоже не стоит, а что отказала ему, да только всего и разговора, и найдем себе такого, что и любовь будет и помощь; не будешь так-то зубами щелкать да убиваться». А она руками замахала: «не надо! не надо! не надо!» да сама кинулась в постель головой, в подушки, и надрывается, ажно как спинка в платье не лопнет. У меня на то время был один тоже знакомый купец (отец у него по Суровской линии свой магазин имеет), и просил он меня очень: «Познакомь, – го-

ворит, – ты меня, Домна Платоновна, с какой-нибудь барышней, или хоть и с дамой, но только чтоб очень образованная была. Терпеть, – говорит, – не могу необразованных». И поверить можно, потому и отец у них и все мужчины в семье все как есть на дурах женаты, и у этого-то тоже жена дурища – всё, когда ни приди, сидит да печатаные пряники ест.

«На что, – думаю, – было бы лучше желать и требовать, как эту Леканиду суютить с ним». Но, вижу, еще глупа – я и оставила ее: пусть дойдет на солнце!

Месяца два я у нее не была. Хоть и жаль было мне ее, но что, думала себе, когда своего разума нет и сам человек ничем кругом себя ограничить не понимает, так уж ему не поможешь.

Но о спажинках была я в их доме; кружевцов немного продала, и вдруг мне что-то кофию захотелось, и страсть как захотелось. Дай, думаю, зайду к Домуховской, к Леканиде Петровне, напьюсь у нее кофию. Иду это по черной лестнице, отворяю дверь на кухню – никого нет. Ишь, говорю, как живут откровенно – бери что хочешь, потому и самовар и кастрюли, все, вижу, на полках стоит.

Да только что этак-то подумала, иду по коридору и слышу, что-то хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты, Боже мой! что это? думаю. Скажите пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь в ее комнату, а он, этот приятель-то ее добрый – из актеров он был, и даже немаловажный актер – артист назывался; ну-с, держит он, сударь, ее одною рукою за руку, а в другой на-

гайка.

«Варвар! варвар! – закричала я на него, – что ты это, варвар, над женщиной делаешь!» – да сама-то, знаешь, промеж них, саквояжем-то своим накрываюсь, да промеж них-то. Вот ведь что вы, злодеи, над нашей сестрой делаете!

Я молчал.

– Ну, тут-то я их разняла, не стал он ее при мне больше наказывать, а она еще было и отговаривается.

«Это, – говорит, – вы не думайте, Домна Платоновна; это он шутил».

«Ладно, – говорю, – матушка; бочка-то, гляди, в платье от его шутилки не потрескались ли». Однако жили опять; все он у нее стоял на квартире, только ничего ей, мошенник, ни грошика не платил.

– Тем и кончилось?

– Ну, нет; через несколько времени пошел у них опять карамболь, пошел он ее опять что день трепать, а тут она какую-то жиличку еще к себе, приезжую барыньку из купчих, приняла. Чай, ведь сам знаешь, наши купчихи, как из дому вырвутся, на это дело препрбстые... Ну он ко всему же к прежнему да еще почал с этой жиличкой амуриться – пошло у них теперь такое, что я даже и ходить перестала.

«Бог с вами совсем! живите, – думаю, – как хотите».

Только тринадцатого сентября, под самое Воздвижение честнаго и животворящаго креста, пошла я к Знаменью, ко всенощной. Отстояла всенощную, выхожу и в самом притво-

ре на паперти, гляжу – эта самая Леканида Петровна. Жалкая такая, бурнусишко старенький, стоит на коленочках в уголочке и плачет. Опять меня взяла на нее жалость.

«Здравствуй, – говорю, – Леканида Петровна!»

«Ах, душечка, – говорит, – моя, Домна Платоновна, такая-сякая немазаная! Сам Бог, – говорит, – мне вас послал», – а сама так вот ручьями слез горьких и заливается.

«Ну, – я говорю, – Бог, матушка, меня не посылал, потому что Бог ангелов бесплотных посылает, а я человек в свою меру грешный; но ты все-таки не плачь, а пойдем куда-нибудь под насесть сядем, расскажи мне свое горе; может, чем-нибудь надумаемся и поможем».

Пошли.

«Что варвар твой, что ли, опять над тобой что сделал?» – спрашиваю ее.

«Никого, – говорит, – никакого варвара у меня нет».

«Да куда же это ты идешь?» – говорю, потому квартира ее была в Шестилавочной, а она, смотрю, на Грязную заворачивает.

Слово по слову, и раскрылось тут все дело, что квартиры уж у нее нет: мебелишку, какая была у нее, хозяин за долг забрал; дружок ее пропал – да и хорошо сделал, – а живет она в каморочке, у Авдотьи Ивановны Дислен. Такая эта подлая Авдотья Ивановна, даром что майорская она дочь и дворянством своим величается, ну, а преподлая-подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, один раз в квартал не попала по своей про-

стоте по дурацкой. «Ну, только, – говорю я Леканиде Петровне, – я эту Дисленьшу, мой друг, очень знаю – это первая мошенница».

«Что ж, – говорит, – делать! Голубочка Домна Платоновна, что же делать?»

Ручонки-то, гляжу, свои ломит, ломит, инда даже смотреть жалко, как она их коверкает.

«Зайдите, – говорит, – ко мне».

«Нет, – говорю, – душечка, мне тебя хоша и очень жаль, но я к тебе в Дисленьшину квартиру не пойду – я за нее, за бездельницу, и так один раз чуть в квартал не попала, а лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне зайди».

Пришла она ко мне: я ее напоила чайком, обогрела, почавкали с нею, что Бог послал на ужин, и спать ее с собой уложила. Довольно с тебя этого?

Я кивнул утвердительно головою.

– Ночью-то что я еще через нее страху имела! Лежит – лежит она, да вдруг вскочит, сядет на постели, бьет себя в грудь. «Голубочка, – говорит, – моя, Домна Платоновна! Что мне с собой делать?»

Какой час, уж вижу, поздний. «Полно, – говорю, – себе убиваться, – спи. Завтра подумаем».

«Ах, – говорит, – не спится мне, не спится мне, Домна Платоновна».

Ну, а мне спать смерть как хочется, потому у меня сон

необыкновенно какой крепкий.

Проспала я этак до своего часу и прокинулась. Я прокинулась, а она, гляжу, в одной рубашоночке сидит на стуле, ножонки под себя подобрала и папироску курит. Такая беленькая, хорошенькая да нежненькая – точно вот пух в атласе.

«Умеешь, – спрашиваю, – самоварчик поставить?»

«Пойду, – говорит, – попробую».

Надела на себя юбчонку бумазейную и пошла в кухню. А мне-таки тут что-то смерть не хотелось вставать. Приносит она самоваришко, сели мы чай пить, она и говорит: «Что, – говорит, – я, Домна Платоновна, надумалась?»

«Не знаю, – говорю, – душечка, чужую думку своей не раздумашь».

«Поеду я, – говорит, – к мужу».

«На что, мол, лучше этого, как честной женой быть, – когда б, – спрашиваю, – только он тебя принял?»

«Он, – говорит, – у меня добрый; я теперь вижу, что он всех добрей».

«Добрый-то, – отвечаю ей, – это хорошо, что он добрый; а скажи-ка ты мне, давно ты его покинула-то?»

«А уж скоро, – говорит, – Домна Платоновна, как с год будет».

«Да вот, мол, видишь ты, с год уж тому прошло. Это тоже, – говорю, – дамочка, время не малое».

«А что же, – спрашивает, – такое, Домна Платоновна, вы в этом полагаете?»

«Да то, – говорю, – полагаю, что не завелась ли там на твое место тоже какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная пагубница».

«Я, – отвечает, – об этом, Домна Платоновна, и не подумала».

«То-то, мол, мать моя, и есть, что *«не подумала»*. И все-то вот вы так-то об этом не думаете!.. А надо думать. Когда б ты подумала-то да рассудила, так, может быть, и много б чего с тобой не было».

Она таки тут ух как засмутилась! Заскребло, вижу, ее за сердчишко-то; губенки свои этак кусает, да и произносит так-ово тихонечко: «Он, – говорит, – мне кажется, совсем не такой был».

«Ах вы, – подумала я себе, – звери вы этикие капустные! Сами козами в горах так и прыгают, а муж хоть и им негож, так и другой не трожь». Не поверишь ты, как мне это всякий раз на них досадно бывает. «Простика ты меня, матушка, – сказала я ей тут-то, – а только речь твоя эта, на мой згад, ни к чему даже не пристала. Что же, – говорю, – он, твой муж, за такой за особенный, что ты говоришь: *не такой* он? Ни в жизнь мою никогда я этому не поверю. Всё, я думаю, и он такой же самый, как и все: костяной да жильный. А ты бы, – говорю, – лучше бы вот так об этом сообразила, что ты, женщиной бымши, себя не очень-то строго соблюла, а ему, – говорю, – ничего это и в суд не поставится», – потому что ведь и в самом-то деле, хоть и ты сам, ангел мой, сообрази:

мужчина что сокол: он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети, куда око глянет; а нашей сестре вся и дорога, что от печи до порога. Наша сестра вашему брату все равно что дураку волынка: поиграл, да и кинул. Согласен ли ты с этой справедливостью?

Ничего не возражаю.

А Домна Платоновна, спасибо ей, не дождавшись моего ответа, продолжает:

– Ну-с, вот и эта, милостивая моя государыня, наша Леканида Петровна, после таких моих слов и говорит: «Я, – говорит, – Домна Платоновна, ничего от мужа не скрою, во всем сама повинюсь и признаюсь: пусть он хоть голову мою снимет».

«Ну, это, – отвечаю, – опять тоже, по-моему, не дело, потому что мало ли какой грех был, но на что про то мужу сказывать. Что было, то прошло, а слушать ему про это за большое удовольствие не будет. А ты скрепись и виду не покажи».

«Ах, нет! – говорит, – ах, нет, я лгать не хочу».

«Мало, – говорю, – чего не хочешь! Сказывается: грех воровать, да нельзя миновать».

«Нет, нет, нет, я не хочу, не хочу! Это грех обманывать». Зарядила свое, да и баста.

«Я, – говорит, – прежде все опишу, и если он простит – получу ответ, тогда и поеду».

«Ну, делай, мол, как знаешь; тебя, видно, милая, не на-

учишь. Дивлюсь только, – говорю, – одному, что какой это из вас такой новый завод пошел, что на грех идете, вы тогда с мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости господи, о пакостях о своих – греха боитесь. Гляди, – говорю, – бабочка, не кусать бы тебе локтя!»

Так-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, в котором, уж бог ее знает, все объяснила, должно быть, – ответа нет. Придет, плачет-плачет – ответа нет.

«Поеду, – говорит, – сама; слугою у него буду».

Опять я подумала – и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть попервоначалу какое время и погнева-ется, а как она на глазах будет, авось опять дух, во тьме приходящий, спутает; может, и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную всегда перекукует.

«Ступай, – говорю, – все ж муж, не любовник, все скорей смилуется».

«А где б, – говорит, – мне, Домна Платоновна, денег на дорогу достать?»

«А своих-то, – спрашиваю, – аль уж ничего нет?»

«Ни грошика, – говорит, – нет; я уж и Дисленьше должна».

«Ну, матушка, денег доставать здесь остро».

«Взгляните, – говорит, – на мои слезы».

«Что ж, – говорю, – дружок, слезы? – слезы слезами, и мне даже самой очень тебя жаль, да только Москва слезам не верит, говорит пословица. Под них денег не дадут».

Она плачет, я это тоже с нею сижу, да так промеж себя и

разговариваем, а в комнату ко мне шасть вдруг этот полковник... как его зовут-то?

– Да ну, бог там с ним, как его зовут!

– Уланский, или как их это называются-то они? – инженер?

– Да бог с ним, Домна Платоновна.

– Ласточкин он, кажется, будет по фамилии, или как не Ласточкин? Так как-то птичья фамилия и не то с «люди», не то с «како» начинается...

– Ах, да оставьте вы его фамилию в покое.

– Я этак-то вот много кого: по местам сейчас тебе найду, а уж фамилию не припомню. Ну, только входит этот полковник; начинает это со мною шутить, да на ушко и спрашивает:

«Что, – говорит, – это за барышня такая?»

Она совсем барыня, ну, а он ее барышней назвал: очень она еще моложава была на вид.

Я ему отвечаю, кто она такая.

«Из провинции?» – спрашивает.

«Это, – говорю, – вы угадали – из провинции».

А он это – не то как какой ветреник или повеса – известно, человек уж в таком чине – любил, чтоб женщина была хоть и на краткое время, но не забывши свой стыд, и с правилами; ну, а наши питерские, знаешь, чай, сам, сколько у них стыда-то, а правил и еще того больше: у стриженной девки на голове волос больше, чем у них правил.

– Ну-с, Домна Платоновна?

«Ну, сделай, – говорит, – милость, Домна Панталоновна», – у них это, у полковых, у всех все такая привычка: не скажет: Платоновна, а *Панталоноена*. «Ну-с, – говорит, – Домна Панталоновна, ничего, – говорит, – для тебя не пожалею, только ограничь ты мне это дело в порядке».

Я, знаешь, ничего ему решительного не отвечаю, а только бровями этак, понимаешь, на нее повела и даю ему мину, что, дескать, «трудно».

«Невозможно?» – говорит.

«Этого, – говорю, – я тебе, генерал мой хороший, не объясняю, потому это ее душа, ее и воля, а что хотя и не надеюсь, но попробовать я для тебя попробую».

А он сейчас мне: «Нечего, – говорит, – тут, Панталониха, словами разговаривать; вот, – говорит, – тебе пятьдесят рублей, и все их сейчас ей передай».

– И вы их, – спрашиваю, – передали?

– А ты вот лучше не забегай, а если хочешь слушать, так слушай. Рассуждаю я, взявши у него эти деньги, что хотя, точно, у нас с нею никогда разговора такого, на это похожего, не было, чтоб претекст мне ей такой сделать, ну только, зная эти петербургские обстоятельства, думаю: «Ох, как раз она еще, гляди, и сама рада, бедная, будет!» Выхожу я к ней в свою в маленькую комнатку, где мы сидели-то, и говорю: «Ты, – говорю, – Леканида Петровна, в рубашечке, знать, родилась. Только о деньгах поговорили, а оне, – говорю, – и вот оне», да бумажку-то перед ней кладу. Она: «Кто это? как

это? откуда?» – «Бог, – я говорю, – тебе послал», – говорю ей громко, а на ушко-то шепчу: «Вот этот барин, – рассказываю, – за одно твое внимание тебе посылает... Прибирай, – говорю, – скорей эти деньги!»

А она, смотря, слезы у нее по глазам и на стол кап-кап, как гороховины. С радости или с горя – никак не разберу, с чего эти слезы.

«Прибери, – говорю, – деньги-то да выдь на минутку в ту комнату, а я тут покопаюсь...» Довольно тебе кажется, как я все это для нее вдруг прекрасно устроила?

Смотрю я на Домну Платоновну: ни бровка у нее не моргнет, ни уста у нее не лукавят; вся речь ее проста, сердечна; все лицо ее выражает одно доброе желание пособить бедной женщине и страх, чтоб это внезапно подвернувшееся благодетельное событие как-нибудь не расстроилось, – страх не за себя, а за эту же несчастную Леканиду.

– Довольно тебе этого? Кажется, все, что могла, все я для нее сделала, – говорит, привскакивая и ударяя рукою по столу, Домна Платоновна, причем лицо ее вспыхивает и принимает выражение гневное. – А она, мерзавка этакая! – восклицает Домна Платоновна, – она с этим самым словом – мах, безо всего, как сидела, прямо на лестницу и гу-гу-ту: во всю мочь ревет, значит. Осрамила! Я это в свой уголок скорей; он тоже за шапку да драла. Гляжу вокруг себя – вижу, и платок она свой шейный, так, мериносовый, старенький платчишко, – забыла. «Ну, постой же, – думаю, – ты, дрянь этакая!

Придешь ты, гадкая, я тебе этого так не подарю». Через день, не то через два, вернулась это я к себе домой, смотрю – и она жалуется. Я, хоть сердце у меня на ее невелико, потому что я вспыльчива только, а сердца долго никогда не держу, но вид такой ей даю, что сердита ужасно.

«Здравствуйте, – говорит, – Домна Платоновна».

«Здравствуй, – говорю, – матушка! За платочком, что ли, пришла? – вон твой платок».

«Я, – говорит, – Домна Платоновна, извините меня, так тогда испугалась».

«Да, – говорю ей, – покорно вас, матушка, благодарю. За мое же к вам за расположение вы такое мне наделали, что на что лучше желать-требовать».



П. А. Федотов. Сватовство майора

«В перепуге, – говорит, – я была, Домна Платоновна, простите, пожалуйста».

«Мне, – отвечаю, – тебя прощать нечего, а что мой дом не такой, чтоб у меня шкандалить, бегать от меня по лестницам да визги эти свои всякие здесь поднимать. Тут, – говорю, – и жильцы благородные живут, да и хозяин, – говорю, – процентщик – к нему что минута народ идет, так он тоже этих визгов-то не захочет у себя слышать».

«Виновата я, Домна Платоновна. Сами вы посудите, такое предложение».

«Что ж ты, – говорю, – такая за особенная, что этак очень тебя предложение это оскорбило? Предложить, – говорю, – всякому это вольно, так как ты женщина нуждающаяся; а ведь тебя насильно никто не брал, и зевать-то, стало быть, тебе во все горло нечего было».

Простить просит.

Я ей и простила, и говорить с ней стала, и чаю чашку налила.

«Я к вам, – говорит, – Домна Платоновна, с просьбой: как бы мне денег заработать, чтоб к мужу ехать».

«Как же, мол, ты их, сударыня, заработаешь? Вот был случай, упустила, теперь сама думай; я уж ничего не придумаю. Что ж ты такое можешь работать».

«Шить, – говорит, – могу; шляпы могу делать».

«Ну, душечка, – отвечаю ей, – ты лучше об этом меня спроси; я эти петербургские обстоятельства-то лучше тебя знаю; с этой работой-то, окромя уж того, что ее, этой работы, достать негде, да и те, которые ею и давно-то занимаются и настоящие-то шитвицы, так и те, – говорю, – давно голые бы ходили, если б на одежонку себе грехом не доставали».

«Так как же, – говорит, – мне быть?» – и опять руки ломает.

«А так, – говорю, – и быть, что было бы не коробатиться; давно бы, – говорю, – уж другой бы день к супругу выехала».

И-и-их, как она опять на эти мои слова вся как вспыхнет!

«Что это, – говорит, – вы, Домна Платоновна, говорите? Разве, – говорит, – это можно, чтоб я на такие скверные дела пустилась?»

«Пускалась же, – говорю, – меня про то не спрашивалась».

Она еще больше запламенела.

«То, – говорит, – грех мой такой был, *увлечение*, а чтобы я, – говорит, – раскаявшись да собираясь к мужу, еще на эти-кие подлые средств поехала – ни за что на свете!»

«Ну, ничего, – говорю, – я, матушка, твоих слов не понимаю. Никаких я тут подлостей не вижу. Мое, – говорю, – рассуждение такое, что когда если хочет себя женщина на настоящий путь поворотить, так должна она всем этим пренебрегать».

«Я, – говорит, – этим предложением пренебрегаю».

Очень, слышь, большая барыня! Так там с своим с конопастым безо всякого без путя сколько время валандалась, а тут для дела, для собственного покоя, чтоб на честную жизнь себя повернуть – шагу одного не может, видишь, ступить, минутая уж ей одна и та тяжела очень стала.

Смотрю опять на Домну Платоновну – ничего в ней нет такого, что лежит печатью на специалистках по части образования жертв «общественного недуга», а сидит передо мною баба самая простодушная и говорит свои мерзости с невозмутимую уверенностью в своей доброте и непроходимой глупости госпожи Леканидки.

– «Здесь, – говорю, – продолжает Домна Платоновна, – столица; здесь даром, матушка, никто ничего не даст и шагу-то для тебя не ступит, а не то что деньги».

Этак поговорили – она и пошла. Пошла она, и недели с две, я думаю, ее не было видно. На конец того дела является голубка вся опять в слезах и опять с своими охами да вздохами.

«Вздыхай, – говорю, – ангел мой, не вздыхай, хоть грудь надсади, но как я хорошо петербургские обстоятельства знаю, ничего тебе от твоих слез не поможется».

«Боже мой! – сказывает, – у меня уж, кажется, как глаза от слез не вылезут, голова как не треснет, грудь болит. Я уж, – говорит, – и в общества сердобольные обращалась: пороги все обила – ничего не выходила».

«Что ж, сама ж, – говорю, – виновата. Ты бы меня распросила, что эти все общества значат. Туда, – говорю, – для того именно и ходят, чтоб только последние башмаки дотапывать».

«Взгляните, – говорит, – сами, какая я? На что я стала похожа».

«Вижу, – отвечаю ей, – вижу, мой друг, и нимало не удивляюсь, потому горе только одного рака красит, но помочь тебе, – говорю, – ничем не могу».

С час тут-то она у меня сидела и все плакала, и даже, правду сказать, уж и надоела.

«Нечего, – говорю ей на конец того, – плакать-то: ничего

от этого не поможется; а умнее сказать, надо покориться».

Смотрю, слушает с плачем и – уж не сердится.

«Ничего, – говорю, – друг любезный, не поделаешь: не ты первая, не ты будешь и последняя».

«Занять бы, – говорит, – Домна Платоновна, хоть рублей пятьдесят».

«Пятидесяти копеек, – говорю, – не займешь, а не то что пятидесяти рублей – здесь не таковский город, а столица. Были у тебя пятьдесят рублей в руках – точно, да не умела ты их брать, так что ж с тобой делать?»

Поплакала она и ушла. Было это как раз, помню, на Иоанна Рыльского, а тут как раз через два дня живет праздник: иконы Казанския Божьей Матери. Так что-то мне в этот день ужасно как нездоровилось – с вечера я это к одной купчихе на Охту ездила да, должно быть, простудилась на этом каторжном перевозе, – ну, чувствую я себя, что нездорова; никуда я не пошла: даже и у обедни не была; намазала себе нос салом и сижу на постели. Гляжу, а Леканида Петровна моя ко мне жалуется, без бурнусика, одним платочком покрывшись.

«Здравствуйте, – говорит, – Домна Платоновна».

«Здравствуй, – говорю, – душечка. Что ты, – спрашиваю, – такая неубранная?»

«Так, – говорит, – на минуту, – говорит, – выскочила», – а сама, вижу, вся в лице меняется. Не плачет, знаешь, а то всполхнет, то сбледнеет. Так меня тут же как молонья мысль и прожгла: верно, говорю себе, чуть ли ее Дисленьша

не выгнала.

«Или, – спрашиваю, – что у вас с Дисленьшей вышло?» – а она это дёрг-дёрг себя за губенку-то, и хочет, вижу, что-то сказать, и заминается.

«Говори, говори, матушка, что такое?»

«Я, – говорит, – Домна Платоновна, к вам». А я молчу.

«Как, – говорит, – вы, Домна Платоновна, поживаете?»

«Ничего, – говорю, – мой друг. Моя жизнь все одинаковая».

«А я... – говорит, – ах, я просто совсем с ног сбилася».

«Тоже, – говорю, – видно, и твое все еще одинаково?»

«Все то же самое, – говорит. – Я уж, – говорит, – всюду кидалася. Я уж, кажется, всякий свой стыд позабыла; все ходила к богатым людям просить. В Кузнечном переулке тут, говорили, один богач помогает бедным – у него была; на Знаменской тоже была».

«Ну, и много же, – говорю, – от них вынесли?»

«По три целковых».

«Да и то, – говорю, – еще много. У меня, – говорю, – купец знакомый у Пяти Углов живет, так тот разменяет рубль на копейки и по копейке в воскресенье и раздает. «Все равно, – говорит, – сто добрых дел выходит перед Богом». Но чтоб пятьдесят рублей, как тебе нужно, – этого, – говорю, – я думаю, во всем Петербурге и человека такого нет из богачей, чтобы даром дал».

«Нет, – говорит, – говорят, есть».

«Кто ж это, мол, тебе говорил? Кто такого здесь видел?»

«Да одна дама мне говорила... Там у этого богача мы с нею в Кузнечном вместе дожидали. Грек, говорит, один есть на Невском: тот много помогает».

«Как же это, – спрашиваю, – он за здорово живешь, что ли, помогает?»

«Так, – говорит, – так, просто так помогает, Домна Платоновна».

«Ну, уж это, – говорю, – ты мне, пожалуйста, этого лучше и не ври. Это, – говорю, – сущий вздор».

«Да что же вы, – говорит, – спорите, когда эта дама сама про себя даже рассказывала? Она шесть лет уж не живет с мужем, и всякий раз как пойду, говорит, так пятьдесят рублей».

«Врет, – говорю, – тебе твоя знакомая дама».

«Нет, – говорит, – не врет».

«Врет, врет, – говорю, – и врет. Ни в жизнь этому не поверю, чтобы мужчина женщине пятьдесят рублей даром дал».

«А я, – говорит, – утверждаю вас, что это правда».

«Да ты что ж, сама, что ли, – говорю, – ходила?»

А она краснеет, краснеет, глаз куда деть не знает.

«Да вы, – говорит, – что, Домна Платоновна, думаете? Вы, пожалуйста, ничего такого не думайте! Ему восемьдесят лет. К нему много дам ходят, и он ничего от них не требует».

«Что ж, – говорю, – он красотой, что ли, только вашею освещается?»

«Вашею? Почему же это, – говорит, – вы опять так утверждаете, что как будто и я там была?» А сама так, как розан, и покраснелась.

«Чего ж, – говорю, – не утверждать? разве не видно, что была?»

«Ну так что ж такое, что была? Да, была».

«Что ж, очень, – говорю, – твоему счастью рада, что побывала в хорошем доме».

«Ничего, – говорит, – там нехорошего нет. Я очень просто зашла, – говорит, – к этой даме, что с ним знакома, и рассказала ей свои обстоятельства... Она, разумеется, мне сначала сейчас те же предложения, что и все делают... Я не захотела; ну, она и говорит: «Ну так вот, не хотите ли к одному греку богатому сходить? Он ничего не требует и очень много хорошеньким женщинам помогает. Я вам, – говорит, – адрес дам. У него дочь на фортепиано учится, так вы будто как учительница придете, но к нему самому ступайте, и ничего, – говорит, – вас стеснять не будет, а деньги получите». Он, понимаете, Домна Платоновна, он уже очень старый-престарый».

«Ничего, – говорю, – не понимаю».

Она, вижу, на мою недогадливость сердится. Ну, а я уж где там не догадываюсь: я все отлично это понимаю, к чему оно клонит, а только хочу ее стыдом-то этим помучить, чтоб совесть-то ее взяла хоть немножко.

«Ну как, – говорит, – не понимаете?»

«Да так, – говорю, – очень просто не понимаю, да и пони-

мать не хочу».

«Отчего это так?»

«А оттого, – говорю, – что это отврат и противность, тьфу!» Стыжу ее; а она, смотрю, морг-морг и кидается ко мне на плечи, и целует, и плачучи говорит: «А с чем же я все-таки поеду?»

«Как с чем, мол, поедешь? А с теми деньгами-то, что он тебе дал».

«Да он мне всего, – говорит, – десять рублей дал».

«Отчего так, – говорю, – десять? Как это – всем пятьдесят, а тебе всего десять!»

«Черт его знает!» – говорит с сердцем.

И слезы даже у нее от большого сердца остановились.

«А то-то, мол, и есть!., видно, ты чем-нибудь ему не потрафила. Ах вы, – говорю, – дамки вы этакие, дамки! Не лучше ли, не честнее ли я тебе, простая женщина, советовала, чем твоя благородная посоветовала?»

«Я сама, – говорит, – это вижу».

«Раньше, – говорю, – надо было видеть».

«Что ж я, – говорит, – Домна Платоновна... я же ведь теперь уж и решилась», – и глаза это в землю тупит.

«На что ж, – говорю, – ты решилась?»

«Что ж, – говорит, – делать, Домна Платоновна, так, как вы говорили... вижу я, что ничего я не могу пособить себе. Если б, – говорит, – хоть хороший человек...»

«Что ж, – говорю, чтоб много ее словами не конфузить, –

я, – говорю, – отягощусь, похлопочу, но только уже и ты ж, смотри, сделай милость, не капризничай».

«Нет, – говорит, – уж куда!..» Вижу, сама давится, а сама твердо отвечает: «Нет, – говорит, – отяготитесь, Домна Платоновна, я не буду капризничать». Узнаю тут от нее, посидевши, что эта подлая Дисленьша ее выгоняет, и то есть не то что выгоняет, а и десять рублей-то, что она, несчастная, себе от грека принесла, уж отобрала у нее и потом совсем уж ее и выгнала и бельишко – какая там у нее была рубашка да перемывашка – и то все обобрала за долг и за хвост ее, как кошку, да на улицу.

«Да знаю, – говорю я, – эту Дисленьшу».

«Она, – говорит, – Домна Платоновна, кажется, просто торговать мною хотела».

«От нее, – отвечаю, – другого-то ничего и не дождешься».

«Я, – говорит, – когда при деньгах была, я ей не раз помогала, а она со мной так обошлась, как с последней».

«Ну, душечка, – говорю, – нынче ты благодарности в людях лучше и не ищи. Нынче, чем ты кому больше добра делай, тем он только готов тебе за это больше напакостить. Тонет, так топор сулит, а вынырнет, так и топорища жаль».

Рассуждаю этак с ней и ни-и-и думаю того, что она сама, шельма эта Леканида Петровна, как мне за все отблагодарит.

Домна Платоновна вздохнула.

– Вижу, что она все это мнется да трется, – продолжала Домна Платоновна, – и говорю: «Что ты хочешь сказать-то?»

Говори – лишних бревен никаких нет: в квартал надзирателью доносить некому».

«Когда же?» – спрашивает.

«Ну, – говорю, – мать моя, надо подождать: это тоже шахмах не делается».

«Мне, – говорит, – Домна Платоновна, деться некуда».

А у меня – вот ты как зайдешь когда-нибудь ко мне, я тебе тогда покажу – есть такая каморка, так, маленькая такая, вещи там я свои, какие есть, берегу, и если случится какая тоже дамка, что места ищет иногда или случая какого дожидается, так в то время отдаю. На эту пору каморочка у меня была свободна. «Переходи, – говорю, – и живи».

Переход ее весь в том и был, что в чем пришла, в том и осталась: все Дисленьша, мерзавка, за долги забрала.

Ну, видя ее бедность, я дала ей тут же платье – купец один мне дарил: чудное платье, крепрошелевое, не то шикшинетеневое, так как-то материя-то эта называлась, – но только узко оно мне в лифике было. Шитвица-пакостница не потрафила, да я, признаться, и не люблю фасонных платьев, потому сжимают они очень в грудях, я все вот в этих капотах хожу.

Ну, дала я ей это платье, дала кружевцов; перешила она это платьишко, отделала его кое-где кружевцами, и чудесное еще платьице вышло. Пошла я, сударь мой, в Штинбоков пассаж, купила ей полсапожки, с кисточками такими, с бахромочкой, с каблучками; дала ей воротничков, манишечку

– ну, одним словом, нарядила молодца, яко старца; не стыдно ни самой посмотреть, ни людям показать. Даже сама я не утерпела, пошутила ей: «Франтишка, – говорю, – ты какая! умеешь все как к лицу сделать».

Живем мы после этого вместе неделю, живем другую, все у нас с нею отлично: я по своим делам, а она дома остается. Вдруг тут-то дело мне припало к одной не то что к дамке, а к настоящей барыне, и немолодая уж барыня, а такая-то, прости господи!., звезда восточная. Студента все к сыну у гувернеры искала. Ну, уж я знаю, какого ей надо студента.

«Чтоб был, – говорит, – опрятный; чтоб не из этих, как вот шлятся – сицилисты, – они не знают небось, где и мыло продается».

«На что ж, – говорю, – из этих? Куда они годятся!»

«И, – говорит, – чтоб в возрасте был, а не дитею бы смотрел; а то дети его и слушаться не будут».

«Понимаю, мол, все».

Отыскала я студента: мальчонко молоденький, но этакий штуковатый и чищенный, все сразу понимает. Иду-с я теперь с этим делом к этой даме; передала ей адрес; говорю: так и так, тогда и тогда будет, и извольте его посмотреть, а что такое если не годится – другого, – говорю, – найдем, и сама ухажу. Только иду это с лестницы, а в швейцарской генерал мне навстречу и вот он. И этот самый генерал, надо тебе сказать, хоть он и штатский, но очень образованный. В доме у него роскошь такой: зеркала, лампы, золото везде, ковры,

лакеи в перчатках, везде это духами накурено. Одно слово, свой дом, и живут в свое удовольствие; два этажа сами занимают: он, как взойдешь из швейцарской, сейчас налево; комнат восемь один живет, а направо сейчас другая такая ж половина, в той сын старший, тоже женатый уж года с два. На богатой тоже женился, и все как есть в доме очень ее хвалят, говорят – предобрая барыня, только чахотка, должно, у нее – очень уж худая. Ну, а наверху, сейчас по этакой лестнице – широкая-преширокая лестница и вся цветами установлена – тут сама старуха, как тетеря на токовище, сидит с меньшенькими детьми, и гувернеры-то эти там же. Ну, знаешь уж, как на большую ногу живут!

Встретил меня генерал и говорит: «Здравствуй, Домна Платоновна!» – Превежливый барин.

«Здравствуйте, – говорю, – ваше превосходительство».

«У жены, что ль, была?» – спрашивает.

«Точно так, – говорю, – ваше превосходительство, у супруги вашей, у генеральши была; кружевца, – говорю, – старинные приносила».

«Нет ли, – говорит, – у тебя чего, кроме кружевцов, хорошенького?»

«Как, – говорю, – не быть, ваше превосходительство! Для хороших, – говорю, – людей всегда на свете есть что-нибудь хорошее».

«Ну, пойдем-ка, – говорит, – пройдемся; воздух, – говорит, – нынче очень свежий».

«Погода, – отвечаю, – отличная, редко такой и дождешься».

Он выходит на улицу, и я за ним, а карета сзади нас по улице едет. Так вместе по Моховой и идем – ей-богу правда. Препростодушный, говорю тебе, барин!

«Что ж, – спрашивает, – чем же ты это нынче, Домна Платоновна, мне похвалишься?»

«А уж тем, мол, ваше превосходительство, похваюсь, что могу сказать, что редкость».

«Ой ли, правда?» – спрашивает – не верит, потому что он очень и опытный – постоянно все по циркам да по балетам и везде страшно по этому предмету со вниманием следит.

«Ну, уж хвалиться, – говорю, – вам, сударь, не стану, потому что, кажется, изволите знать, что я попусту врать на ветер не охотница, а вы, когда вам угодно, извольте, – говорю, – пожаловать. Гляженое лучше хваленого».

«Так не лжешь, – говорит, – Домна Платоновна, стоящая штучка?»

«Одно слово, – отвечаю ему я, – ваше превосходительство, больше и говорить не хочу. Не такой товар, чтоб еще нахваливать».

«Ну, посмотрим, – говорит, – посмотрим».

«Милости, – говорю, – просим. Когда пожалуете?»

«Да как-нибудь на этих днях, – говорит, – вероятно, заеду».

«Нет, – говорю, – ваше превосходительство, вы извольте

назначить как наверное, так, – говорю, – и ждать будем; а то я, – говорю, – тоже дома не сижу: волка, мол, ноги кормят».

«Ну, так я, – говорит, – послезавтра, в пятницу из присутствия заеду».

«Очень хорошо, – говорю, – я ей скажу, чтоб дожидалась».

«А у тебя, – спрашивает, – тут в узелке-то что-нибудь хорошенькое есть?»

«Есть, – говорю, – штучка шелковых кружев черных, отличная. Половину, – солгала ему, – половину, – говорю, – ваша супруга взяли, а половина, – говорю, – как раз на двадцать рублей осталась».

«Ну, передай, – говорит, – ей от меня эти кружева: скажи, что *добрый гений* ей посылает», – шутит это, а сам мне двадцать пять рублей бумажку подает, и сдачи, говорит, не надо: возьми себе на орехи.

Довольно тебе, что и в глаза ее не выдавши, этакой презент.

Сел он в карету тут у Семионовского моста и поехал, а я Фонталкой по набережной да и домой.

«Вот, – говорю, – Леканида Петровна, и твое счастье нашлось».

«Что, – говорит, – такое?»

А я ей все по порядку рассказываю, хвалю его, знаешь, ей, как ни быть лучше: хотя, говорю, и в летах, но мужчина видный, полный, белье, говорю, тонкое носит, в очках, сказываю, золотых; а она вся так и трясется.

«Нечего, – говорю, – мой друг, тебе его бояться: может быть, для кого-нибудь другого он там по чину своему да по должности пускай и страшен, а твое, – говорю, – дело при нем будет совсем особое; еще ручки, ножки свои его целовать заставь. Им, – говорю, – одна дамка-полячка (я таки ее с ним еще и познакомила) как хотела помыкала и амантов, – говорю, – имела, а он им еще и отличные какие места подавал, все будто вместо своих братьев она ему их выдавала. Положись на мое слово и ничуть его не опасайся, потому что я его отлично знаю. Эта полячка, бывало, даже руку на него поднимала: сделает, бывало, истерику, да мах его рукою по очкам; только стеклышки зазвенят. А твое воспитание ничуть не ниже.

А вот, – говорю, – тебе от него пока что и презентик», – вынула кружева да перед ней и положила.

Прихожу опять вечером домой, смотрю – она сидит, чулок себе штопает, а глаза такие заплаканные; гляжу, и кружева мои на том же месте, где я их положила.

«Прибрать бы, – говорю, – тебе их надо; вон хоть в комоду, – говорю, – мою, что ли, бы положила; это вещь дорогая».

«На что, – говорит, – они мне?»

«А не нравятся, так я тебе за них десять рублей деньги ворочу».

«Как хотите», – говорит. Взяла я эти кружева, смотрю, что все целы, – свернула их как должно и так, не мерявши, в свой саквояж и положила.

«Вот, – говорю, – что ты мне за платье должна – я с тебя лишнего не хочу, – положим за него хоть семь рублей, да за полсапожки три целковых, вот, – говорю, – и будем квиты, а остальное там, как сочтемся».

«Хорошо», – говорит, – а сама опять плакать.

«Плакать-то теперь бы, – говорю, – не следовало».

А она мне отвечает:

«Дайте, – говорит, – мне, пожалуйста, мои последние слезы выплакать. Что вы, – говорит, – беспокоитесь? – не бойтесь, понравлюсь!»

«Что ж, – говорю, – ты, матушка, за мое же добро да на меня же фыркаешь? Тоже, – говорю, – новости: у Фили пили, да Филю ж и били!»

Взяла да и говорить с ней перестала.

Прошел четверг, я с ней не говорила. В пятницу напилась чаю, выхожу и говорю: «Изволь же, – говорю, – сударыня, быть готова: он нынче приедет».

Она как вскочит: «Как нынче! как нынче!»

«А так, – говорю, – чай, сказано тебе было, что он обещался в пятницу, а вчера, я думаю, был четверг».

«Голубушка, – говорит, – Домна Платоновна!» – пальцы себе кусает, да бух мне в ноги.

«Что ты, – говорю, – сумасшедшая? Что ты?»

«Спасите!»

«От чего, – говорю, – от чего тебя спасти-то?»

«Защитите! Пожалейте!»

«Да что ты, – говорю, – блажишь? Не сама ли же, – говорю, – ты просила?»

А она опять берет себя руками за щеки да вопит: «Душечка, душечка, пусть завтра, пусть, – говорит, – хоть послезавтра!»

Ну, вижу, нечего ее, дуру, слушать, хлопнула дверью и ушла. Приедет, думаю, он сюда – сами поладят. Не одну уж такую-то я видела: все они попервоначалу благи бывают. Что ты на меня так смотришь? Это, поверь, я правду говорю: все так-то убиваются.

– Продолжайте, – говорю, – Домна Платоновна.

– Что ж, ты думаешь, она, поганка, сделала?

– А кто ее знает, что ее черт угораздил сделать! – сорвалось у меня со злости.

– Уж именно правда твоя, что черт ее угораздил, – отвечала с похвалою моей прозорливости Домна Платоновна. – Этакого человека, этакую вельможу она, шельмовка этакая, и в двери не пустила!.. Стучал-стучал, звонил-звонил – она тебе хоть бы ему голос какой подала. Вот ведь какая хитростная – на что отважилась! Сидит запершись, словно ее и духу там нет. Захожу я вечерком к нему – сейчас меня впустили – и спрашиваю: «Ну что, – говорю, – обманула я вас, ваше превосходительство?» – а он туча-тучей. Рассказывает мне все, как он был и как ни с чем назад пошел.

«Этак, – говорит, – Домна Платоновна, любезная моя, с порядочными людьми не поступают».

«Батюшка, – говорю, – да как это можно! верно, – говорю, – она куда на минутую выходила или что такое – не слышала», – ну, а сама себе думаю: «Ах ты, варварка! ах ты, злодейка этакая! страмовщица ты!»

«Пожалуйте, – прошу его, – ваше превосходительство, завтра – верно вам ручаюсь, что все будет как должно».

Да ушедши-то от него домой, да бегом, да бегом. Прибегаю, кричу:

«Варварка! варварка! что ж ты это, варварка, со мной наделала? с каким ты меня человеком, может быть, расстроила? Ведь ты, – говорю, – сама со всей твоей родней-то да и с целой губернией-то с вашей и сапога его одного отоптанного не стоишь! Он, – говорю, – в прах и в пепел всех вас и все начальство-то ваше истереть одной ногой может. Чего ж ты, бездельница этакая, модничаешь? Даром я, что ли, тебя кормлю? Я бедная женщина; я на твоих же глазах день и ночь постоянно отягощаюсь; я на твоих же глазах веду самую прекратительную жизнь, да еще ты, – говорю, – щелчок ты этакой, нахлебница навязалась!»

И как уж я ее тут-то ругала! Как страшно я ее с сердцов ругала, что ты не поверишь. Кажется б, вот взяла я да глаза ей в сердцах повыцарапала.

Домна Платоновна сморгнула набежавшую на один глаз слезу и проговорила между строк: «Даже теперь жалко, как вспомню, как я ее тогда обидела».

«Гольтепа ты дворянская! – говорю ей, – вон от меня! вон,

чтоб и дух твой здесь не пах!» – и даже за рукав ее к двери бросила. – Ведь вот, ты скажи, что с сердцов человек иной раз делает: сама назавтри к ней такого гран-деву пригласила, а сама ее нынче же вон выгоняю! Ну, а она – на эти мои слова сейчас и готова – и к двери.

У меня уж было и сердце все проходить стало, как она все это стояла-то да молчала, а уж как она по моему по последнему слову к двери даже обернулась, я опять и вскипела.

«Куда, куда, – говорю, – такая-сякая, ты летишь?»

Уж и сама даже не помню, какими ее словами опять изругала.

«Оставайся, – говорю, – не смей ходить!...»

«Нет, я, – говорит, – пойду».

«Как пойдешь? как ты смеешь идтить?»

«Что ж, – говорит, – вы, Домна Платоновна, на меня сердитесь, так лучше же мне уйти».

«Сержусь! – говорю. – Нет, я мало что на тебя сержусь, я тебя буду бить».

Она вскрикнула, да в дверь, а я ее за ручку, да назад, да тут-то стгоряча оплеух с шесть таки горячих ей и закатила.

«Воровка ты, – говорю, – а не дама», – кричу на нее; а она стоит в уголке, как я ее оттрепала, и вся, как клёнов лист, трясется, но и тут, заметь, свою анбицию дворянскую почувствовала.

«Что ж, – говорит, – такое я у вас украла?»

«Космы-то, – говорю, – патлы-то свои подбери, – потому

я ей всю прическу расстроила. – То, – говорю, – ты у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила две недели; обула-одела тебя; я, – говорю, – на всякий час отягощаюсь, я веду прекратительную жизнь, да еще через тебя должна куска хлеба лишиться, как ты меня с таким человеком поссорила!»

Смотрю, она потихоньку косы свои опять в пучок подвернула, взяла в ковшик холодной воды – умылась; голову расчесала и села. Смирно сидит у окошечка, только все жестяное зеркальце потихонечку к щекам прикладывает. Я будто не смотрю на нее, раскладываю по столу кружева, а сама вижу, что щеки-то у нее так и горят.

«Ах, – думаю, – напрасно ведь это я, злодейка, так уж очень ее обидела!»

Все, что стою над столом да думаю – то все мне ее жалче; что стою думаю – то все жалче...

Ахти мне, горе с моим добрым сердцем! Никак я с своим сердцем не совладаю. И досадно, и знаю, что она виновата и вполне того заслужила, а жалко.

Выскочила я на минуточку на улицу – тут у нас, в нашем же доме, под низом кондитерская, – взяла десять штукечек песочного пирожного и прихожу; сама поставила самовар; сама чаю чашку ей налила и подаю с пирожным. Она взяла из моих рук чашку и пирожное взяла, откусила кусочек, да меж зубов и держит. Кусочек держит, а сама вдруг улыбается, улыбается, и весело улыбается, а слезы кап-кап-кап, так и брызжут; таки вот просто не текут, а как сок из лимона, если

подавишь, брызжут.

«Полно, – говорю, – не обижайся».

«Нет, – говорит, – я ничего, я ничего, я ничего...» – да как зарядила это: «я ничего» да «я ничего» – твердит одно, да и полно.

«Господи! – думаю, – уж не сделалось ли ей помрачение смыслов?» Водой на нее брызнула; она тише, тише и успокоилась: села в уголку на постелишке и сидит. А меня все, знаешь, совесть мутит, что я ее обидела. Помолилась я Богу – прочитала, как еще в Мценске священник учил от запалення ума: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», – и сняла с себя капотик, и подхожу к ней в одной юбке, и говорю: «Послушай ты меня, Леканида Петровна! В Писании читается: «да не зайдет солнце во гневе вашем»; прости же ты меня за мою дерзость; давай помиримся!» – поклонилась ей до земли и взяла ее руку поцеловала: вот тебе, ей-богу, как завтрашний день хочу видеть, так поцеловала. И она, смотрю, наклоняется ко мне и в плечо меня чмок, гляжу – и тоже мою руку поцеловала, и сами мы между собою обе друг дружку обняли и поцеловались.

«Друг мой, – говорю, – ведь я не со злости какой или не для своей корысти, а для твоего же добра!» – толкую ей и по головке ее ласкаю, а она все этак скороговоркой:

«Хорошо, хорошо; благодарю вас, Домна Платоновна, благодарю».

«Вот *он*, – говорю, – завтра опять приедет».

«Ну что ж, – говорит, – ну что ж! очень хорошо, пусть приезжает».

Я ее опять по головке глажу, волоски ей за ушко заправляю, а она сидит и глазком с ланпады не смигнет. Ланпад горит перед образами таково тихо, сияние от икон на нее идет, и вижу, что она вдруг губами все шевелит, все шевелит.

«Что ты, – спрашиваю, – душечка, Богу это, что ли, молишься?»

«Нет, – говорит, – это я, Домна Платоновна, так».

«Что ж, – говорю, – я думала, что ты это молишься, а так самому с собой разговаривать, друг мой, не годится. Это только одни помешанные сами с собою разговаривают».

«Ах, – отвечает она мне, – я, – говорит, – Домна Платоновна, уж и сама думаю, что я, кажется, помешанная. На что я только иду! на что я это иду!» – заговорила она вдруг и в грудь себя таково изо всей силы ударяет.

«Что ж, – говорю, – делать? Так тебе, верно, путь такой тяжелый назначен».

«Как, – говорит, – такой мне путь назначен? Я была честная девушка! я была честная жена! Господи! Господи! да где же ты? Где же, где Бог?»

«Бога, – говорю, – читается, друг мой, никто же виде и нигде же».

«А где же есть сожалительные, добрые христиане? Где они? где?»

«Да здесь, – говорю, – и христиане».

«Где?»

«Да как *где*? Вся Россия – всё христиане, и мы с тобой христианки».

«Да, да, – говорит, – и мы христианки...» – и сама, вижу, эти слова выговаривает и в лице страшная становится. Словно она с кем с невидимым говорит.

«**Фу**, – говорю, – да сумасшедшая ты, что ли, в самом деле? что ты меня пужаешь-то? что ты ропот-то на создателя своего произносишь?»

Смотрю: сейчас она опять смирилась, плачет опять тихо и рассуждает:

«Из-за чего, – говорит, – это я только все себе наделала? Каких я людей слушала? Разбили меня с мужем; натолковали мне, что он и тиран и варвар, когда это совсем неправда была, когда я, *я сама*, презренная и низкая капризница, я жизнь его отравляла, а не покоила. Люди! подлые вы люди! сбили меня; насулили мне здесь горы золотые, а не сказали про реки огненные. Муж меня теперь бросил, смотреть на меня не хочет, писем моих не читает. А завтра я... бррр...х!»

Вся даже задрожала.

«Маменька! – стала звать, – маменька! если б ты меня теперь, душечка, видела? Если б ты, чистенький ангел мой, на меня теперь посмотрела из своей могилки? Как она нас, Домна Платоновна, воспитывала! Как мы жили хорошо; ходили всегда чистенькие; все у нас в доме было такое хорошенькое; цветочки мама любила; бывало, – говорит, – возьмет за руки

и пойдём двое далеко... в луга пойдём...»

Тут-то, знаешь ты, сон у меня удивительный – слушала я, как это хорошо все она вспоминает, и заснула.

Ну, представь же ты теперь себе: сплю это; заснула у нее, на ее постеленке, и как пришла к ней, совсем даже в юбке заснула, и опять тебе говорю, что сплю я свое время крепко и снов никогда никаких не вижу, кроме как разве к какому у меня воровству; а тут все это мне видятся рощи такие, палисадники и она, эта Леканида Петровна. Будто такая она маленькая, такая хорошенькая: головка у нее русая, вся в кудряшках, и носит она в ручках веночек, а за нею собачка, такая беленькая собачка, и все на меня гам-гам, гам-гам – будто сердится и укусить меня хочет. Я будто нагибаюсь, чтоб поднять палочку, чтоб эту собачку от себя отогнать, а из земли вдруг мертвая ручища: хватить меня вот за самое за это место, за кость. Вскинулась я, смотрю – свое время я уж проспала и руку страсть как неловко перележала. Ну, оделась я, помолилась Богу и чайку напилась, а она все спит.

«Пора, – говорю, – Леканида Петровна, вставать; чай, – говорю, – на конфорке стоит, а я, мой друг, ухожу»

Поцеловала ее на постели в лоб, истинно говорю тебе, как дочь родную жалеючи, да из двери-то выходя, ключик это потихоньку вынула да в карман.

«Так-то, – думаю, – дело честнее будет».

Захожу к генералу и говорю: «Ну, ваше превосходительство, теперь дело не мое. Я свое сделала – пожалуйста поско-

рей», – и ему отдала ключ.

– Ну-с, – говорю, – милая Домна Платоновна, не на этом же все кончилось?

Домна Платоновна засмеялась и головой закачала с таким выражением, что смешны, мол, все люди на белом свете.

– Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю – огня нет.

«Леканида Петровна!» – зову.

Слышу, она на моей постели ворочается.

«Спишь?» – спрашиваю; а самое меня, знаешь, так смех и подмывает.

«Нет, не сплю», – отвечает.

«Что ж ты огня, мол, не засветишь?»

«На что ж он мне, – говорит, – огонь?»

Зажгла я свечу, раздула самоваришку, зову ее чай пить.

«Не хочу, – говорит, – я», – а сама все к стенке заворачивается.

«Ну, по крайности, – говорю, – встань же, хоть на свою постель перейди: мне мою постель надо поправить».

Вижу, поднимается, как волк угрюмый. Взглянула исподлобья на свечу и глаза рукой заслоняет.

«Что ты, – спрашиваю, – глаза закрываешь?»

«Больно, – отвечает, – на свет смотреть».

Пошла, и слышу, как была опять совсем в платье одетая, так и повалилась.



В. В. Пукирев. Неравный брак

Разделась и я как следует, помолилась Богу, но все меня любопытство берет, как тут у них без меня были подробности? К генералу я побоялась идти: думаю, чтоб опять афронта какого не было, а ее спросить даже следует, но она тоже как-то не допускает. Дай, думаю, с хитростью к ней подойду. Вхожу к ней в каморку и спрашиваю:

«Что, никого, – говорю, – тут, Леканида Петровна, без меня не было?»

Молчит.

«Что ж, – говорю, – ты, мать, и ответить не хочешь?»

А она с сердцем этак: «Нечего, – говорит, – вам меня расспрашивать».

«Как же это, – говорю, – нечего мне тебя расспрашивать? Я хозяйка».

«Потому, – говорит, – что вы без всяких вопросов очень хорошо все знаете», – и это, уж я слышу, совсем другим тоном говорит.

Ну, тут я все дело, разумеется, поняла.

Она только вздыхает; и пока я улеглась и уснула – все вздыхает.

– Это, – говорю, – Домна Платоновна, уж и конец?

– Это первому действию, государь мой, конец.

– А во втором-то что же происходило?

– А во втором она вышла против меня мерзавка – вот что во втором происходило.

– Как же, – спрашиваю, – это, Домна Платоновна, очень интересно, как так это случилось?

– А так, сударь мой, и случилось, как делается: силу человек в себе почуял, ну сейчас и свиной стал.

– И вскоре, – говорю, – это она так к вам переменялась?

– Тут же таки. На другой день уж всю это свою козью прыть показала. На другой день я, по обнаковению, в свое время встала, сама поставила самовар и села к чаю около ее постели в каморочке, да и говорю: «Иди же, – говорю, – Леканида Петровна, умывайся да Богу молись, чай пора пить». Она, ни слова не говоря, вскочила и, гляжу, у нее из кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я к этой бумажке, чтоб поднять ее, а она вдруг сама, как ястреб, на нее бросается.

«Не троньте!» – говорит, и хап ее в руку.

Вижу, бумажка сторублевая.

«Что ж ты, – говорю, – так, матушка, рычишь?»

«Так хочу, так и рычу».

«Успокойся, – говорю, – милая; я, слава Богу, не Дисленьша, в моем доме никто у тебя твоего добра отнимать не станет».

Ни слова она мне в ответ не сказала: мой чай пьет и на меня ж глядеть не хочет; возьми ты это, хоть кому-нибудь доведися – станет больно. Ну, однако, я ей это спустила, думала, что она это еще в расстройке, и точно, вижу, что как это ворот-то у нее в рубашке широкий, так видно, знаешь, как грудь-то у ней так вот и вздрагивает, и на что, я тебе ска-

зывала, была она собою телом и бела и розовая, точно пух в атласе, а тут, знаешь, будто вдруг она какая-то темная мне показалась телом, и всё у нее по голым плечам-то сиротки вспрыгивают, пупырышки эти такие, что вот с холоду когда выступают. Холеной неженке первый снежок труден. Я ее даже молча и пожалела еще и никак себе не воображала, какая она ехидная.

Вечером прихожу; гляжу – она сидит перед свечкой и рубашку себе новую шьет, а на столе перед ней еще так три, не то четыре рубашки лежат прикроенные.

«Почем, – спрашиваю, – брала полотно?»

А она этак тихо-тихохонько мне вот что отвечает:

«Я, – говорит, – Домна Платоновна, желала вас просить: оставьте вы меня, пожалуйста, с вашими разговорами».

Смотрю, вид у нее такой покойный, будто совсем и не сердится. «Ну, – думаю, – матушка, когда ты такая, так и я же к тебе стану иная».

«Я, – говорю ей, – Леканида Петровна, в своем доме хозяйка и все говорить могу; а тебе если мои разговоры неприятны, так не угодно ли, – говорю, – отправляться куда угодно».

«И не беспокойтесь, – говорит, – я и отправлюсь».

«Только прежде всего надо, – я говорю, – рассчитаться: честные люди не рассчитавшись не съезжают».

«Опять, – говорит, – не беспокойтесь».

«Я, – отвечаю, – не беспокоюсь», – ну, только считаю ей

за полтора месяца за квартиру десять рублей и что пила-ела пятнадцать рублей, да за чай, говорю, положим хоть три целковых, тридцать один целковый, говорю. За свечки тут-то не посчитала, и что в баню с собой два раза ее брала, и то тоже забыла.

«Очень хорошо-с, – отвечает, – все будет вам заплачено».

На другой день вечером ворочаюсь опять домой, застаю ее, что она опять сидит себе рубашку шьет, а на стенке, так насупротив ее, на гвоздике висит этакой бурнус, черный атласный, хороший бурнус, на гроденаплевой подкладке и на пуху. Закипело у меня, знаешь, что все это через меня, через мое радетельство получила, да еще без меня же, словно будто потоймя от меня справляет.

«Бурнусы-то, – говорю, – можно б, мне кажется, погодить справлять, а прежде б с долгами расчесться».

Она на эти мои слова сейчас опускает белу рученьку в карман; вытаскивает оттуда бумажку и подает. Смотрю, в этой бумажке аккурат тридцать и один целковый.

Взяла я деньги и говорю: «Благодарствуйте, – говорю, – Леканида Петровна». Уж «вы» ей, знаешь, нарочно говорю.

«Не за что-с», – отвечает, – а сама и глаз на меня даже с работы не вскинет; все шьет, все шьет; так игла-то у нее и летает.

«Постой же, – думаю, – змейка ты зеленая; не очень еще ты чванься, что ты со мною расплатилась».

«Это, – говорю, – Леканида Петровна, вы мне мои расхо-

ды вернули, а что ж вы мне за мои за хлопоты пожалуете?»

«За какие, – спрашивает, – за хлопоты?»

«Как же, – говорю, – я вам стану объяснять? сами, чай, понимаете».

А она это шьет, наперстком-то по рубцу водит, да и говорит, не глядя: «Пусть, – говорит, – вам за эти ваши милые хлопоты платит тот, кому они были нужны».

«Да ведь вам, – говорю, – они, больше всех нужны-то были».

«Нет, мне, – говорит, – они не были нужны. А впрочем, сделайте милость, оставьте меня в покое».

Довольно с тебя этой дерзости! Но я и ею пренебрегла. Пренебрегла и оставила, и не говорю с нею, и не говорю.

Только наутро, где бы пить чай, смотрю – она убралась; рубашку эту, что ночью дошила, на себя надела, недошитые свернула в платочек; смотрю, нагинается, из-под кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достает... Прехорошенькая шляпочка... все во всем ее вкусе... Надела ее и говорит: «Прощайте, Домна Платоновна».

Жаль мне ее опять тут, как дочь родную, стало: «Постой же, – говорю ей, – постой, хоть чаю-то напейся!»

«Покорно благодарю, – отвечает, – я у себя буду пить чай».

Понимай, значит, – то, что *у себя!* Ну, бог с тобой, я и это мимо ушей пустила.

«Где ж, – говорю, – ты будешь жить?»

«На Владимирской, – говорит, – в Тарховом доме».

«Знаю, – говорю, – дом отличный, только дворники большие повесы».

«Мне, – говорит, – до дворников дела нет».

«Разумеется, – говорю, – мой друг, разумеется! Комнатку себе, что ли, наняла?»

«Нет, – отвечает, – квартиру взяла, с кухаркой буду жить».

Вон, вижу, куда заиграло! «Ах ты, хитрая! – говорю, – хитрая! – шутя на нее, знаешь, пальцем грожусь. – Зачем же, – говорю, – ты меня обманывала-то, говорила, что к мужу-то поедешь?»

«А вы, – говорит, – думаете, что я вас обманывала?»

«Да уж, – отвечаю, – что тут думать! когда б имела желание ехать, то, разумеется, не нанимала б тут квартиры».

«Ах, – говорит, – Домна Платоновна, как мне вас жалко! ничего вы не понимаете».

«Ну, – говорю, – уж не хитри, душечка! Вижу, что ты умно обделала дельце».

«Да вы, – говорит, – что это толкуете! Разве такие мерзавки, как я, к мужьям ездят?»

«Ах, мать ты моя! что ты это, – отвечаю, – себя так уж очень мерзавишь! И в пять раз мерзавней тебя, да с мужьями живут».

А она, уж совсем это на пороге-то стоячи, вдруг улыbnулась, да и говорит: «Нет, извините меня, Домна Платоновна, я на вас сердилась; ну, а вижу, что на вас нельзя сердиться,

потому что вы совсем глупы».

Это вместо прощаньято! нравится это тебе? «Ну, – подумала я ей вслед, – глупа-неглупа, а, видно, умней тебя, потому, что я захотела, то с тобой, с умницей, с воспитанной, и сделала».

Так она от меня сошла, не то что с ссорюю, а все как с небольшим удовольствием. И не видала я ее с тех пор, и не видала, я думаю, больше как год. В это-то время у меня тут как-то работку Бог давал: четырех купцов я женила; одну полковницкую дочь замуж выдала; одного надворного советника на вдове, на купчихе, тоже женила, ну и другие разные дела тоже перепали, а тут это товар тоже из своего места насылали – так время и прошло. Только вышел тут такой случай: была я один раз у этого самого генерала, с которым Леканидку-то познакомила: к невестке его зашла. С сыном-то с его я давно была знакома: такой тоже весь в отца вышел. Ну, прихожу я к невестке, мантиль блондовую она хотела дать продать, а ее и нет: в Воронеж, говорят, к Митрофанию угоднику поехала.

«Зайду, – думаю, – по старой памяти к барину».

Всхожу с заднего хода, никого нет. Я потихонечку топы-топы, да одну комнату прошла и другую, и вдруг, сударь ты мой, слышу Леканидкин голос: «Шарман мой! – говорит, – я, – говорит, – люблю тебя; ты одно мое счастье земное!»

«Отлично, – думаю, – и с папенькой и с сыночком ро-

мансы проводит моя Леканида Петровна», да сама опять топы-топы да теми же пятами вон. Узнаю-поузнаю, как это она познакомилась с этим, с молодым-то, – аж выходит, что жена-то молодого сама над нею сжалилась, навещать ее стала потихоньку, все это, знаешь, жалеючи ее, что такая будто она дамка образованная да хорошая; а она, Леканидка, ей, не хуже как мне, и отблагодарила. Ну, ничего, не мое это, значит, дело; знаю и молчу; даже еще покрываю этот ее грех, и где следует виду этого не подаю, что знаю. Прошло опять чуть не с год ли. Леканидка в ту пору жила в Кирпичном переулке. Собиралась я это на средокрестной неделе говеть и иду этак по Кирпичному переулку, глянула на дом-то да думаю: как это нехорошо, что мы с Леканидой Петровной такое время поссорившись; тела и крови готовясь принять – дай зайду к ней, помирюсь! Захожу. Парад такой в квартире, что лучше требовать нельзя. Горничная – точно как барышня.

«Доложите, – говорю, – умница, что, мол, кружевница Домна Платоновна желает их видеть».

Пошла и выходит, говорит: «Пожалуйте».

Вхожу в гостиную; таково тоже все парадно, и на диване сидит это сама Леканидка и генералова невестка с ней: обе кофий кушают. Встречает меня Леканидка будто и ничего, будто со вчера всего только не видались.

Я тоже со всей моей простотой: «Славно, – говорю, – живешь, душечка; дай Бог тебе и еще лучше».

А она с той что-то вдруг и залопотала по-французски.

Не понимаю я ничего по-ихнему. Сижу, как дура, глазею по комнате, да и зевать стала.

«Ах, – говорит вдруг Леканидка, – не хотите ли вы, Домна Платоновна, кофию?»

«Отчего ж, – говорю, – позвольте чашечку».

Она это сейчас звонит в серебряный колокольчик и приказывает своей девке: «Даша, – говорит, – напоите Домну Платоновну кофием».

Я, дура, этого тогда сразу-то и не поняла хорошенько, что такое значит *напоите*; только смотрю, так минут через десять эта самая ее Дашка входит опять и докладывает: «Готово, – говорит, – сударыня».

«Хорошо, – говорит ей в ответ Леканидка, да и оборачивается ко мне: – Подите, – говорит, – Домна Платоновна: она вас напоит».

Ух, уж на это меня взорвало! Сверзну я ее, подумала себе, но удержалась. Встала и говорю: «Нет, покорно вас благодарю, Леканида Петровна, на вашем угощении. У меня, – говорю, – хоть я и бедная женщина, а у меня и свой кофий есть».

«Что ж, – говорит, – это вы так рассердились?»

«А то, – прямо ей в глаза говорю, – что вы со мной мою хлеб-соль вместе кушивали, а меня к своей горничной посылаете: так это мне, разумеется, обидно».

«Да моя, – говорит, – Даша – честная девушка; ее общество вас оскорблять не может», – а сама будто, показалось мне, как улыбается.

«Ах ты, змея, – думаю, – я тебя у сердца моего пригрела, так ты теперь и по животу ползешь!» «Я, – говорю, – у этой девицы чести ее нисколько не снимаю, ну только не вам бы, – говорю, – Леканида Петровна, меня с своими прислугами за один стол сажать».

«А отчего это, – спрашивает, – так, Домна Платоновна, не мне?»

«А потому, – говорю, – матушка, что вспомни, что ты была, и посмотри, что ты есть и кому ты всем этим обязана».

«Очень, – говорит, – помню, что была я честной женщиной, а теперь я дрянь и обязана этим вам, вашей доброте, Домна Платоновна».

«И точно, – отвечаю, – речь твоя справедлива, прямая ты дрянь. В твоём же доме, да ничего не боясь, в глаза тебе эти слова говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь и есть, а не я тебя дрянью сделала».

А сама, знаешь, беру свой саквояж.

«Прощай, – говорю, – госпожа великая!»

А эта генеральская невестка-то чахоточная как вскочит, дохлая: «Как вы, – говорит, – смеете оскорблять Леканиду Петровну!»

«Смею, – говорю, – сударыня!»

«Леканида Петровна, – говорит, – очень добра, но я, наконец, не позволю обижать ее в моем присутствии: она мой друг».

«Хорош, – говорю, – друг!»

Тут и Леканидка, гляжу, вскочила да как крикнет: «Вон, – говорит, – гадкая ты женщина!»

«А! – говорю, – гадкая я женщина? Я гадкая, да я с чужими мужьями романсов не провождаю. Какая я ни на есть, да такого не делала, чтоб и папеньку и сыночка одними прелестями-то своими прельщать! Извольте, – говорю, – сударыня, вам вашего друга, уж вполне, – говорю, – друг».

«Лжете, – говорит, – вы! Я не поверю вам, вы это со злости на Леканиду Петровну говорите».

«Ну, а со злости, так вот же, – говорю, – теперь ты меня, Леканида Петровна, извини; теперь, – говорю, – уж я тебя сверзну», – и все, знаешь, что слышала, что Леканидка с мужем-то ее тогда чекотала, то все им и высыпала на стол, да и вон.

– Ну-с, – говорю, – Домна Платоновна?

– Бросил ее старик после этого скандала.

– А молодой?

– Да с молодым нетто у нее интерес был какой! С молодым у нее, как это говорится так, – пур-амур любовь шла. Тоже ведь, гляди ты, шушваль этакая, а без любви никак дышать не могла. Как же! нельзя же комиссару без штанов быть. А вот теперь и без любви обходится.

– Вы, – говорю, – почему это знаете, что обходится?

– А как же не знаю! Стало быть, что обходится, когда живет в такой жизни, что нынче один князь, а завтра другой граф; нынче англичанин, завтра итальянец или ишпанец ка-

кой. Уж тут, стало, не любовь, а деньги. Бзырит по магазинам да по Невскому в такой коляске лежачей на рысках ка-
тается...

– Ну, так вы с тех пор с нею и не встречаетесь.

– Нет. Зла я на нее не питаю, но не хожу к ней. Бог с нею совсем! Раз как-то на Морской нынче по осени выхожу от одной дамы, а она на крыльцо всходит. Я таки дала ей до-
рогу и говорю: «Здравствуйте, Леканида Петровна!» – а она
вдруг, зеленая вся, наклонилась ко мне, с крылечка-то, да
этак к самому к моему лицу, и с ласковой такой миной отве-
чает: «Здравствуй, мерзавка!»

Я даже не утерпел и рассмеялся.

– Ей-богу! «Здравствуй, – говорит, – мерзавка!» Хотела
я ей тут-то было сказать: не мерзавь, мол, матушка, сама ты
нынче мерзавка, да подумала, что лакей-то этот за нею, и
зонтик у него большой в руках, так уж проходи, думаю, на-
лево, французская королева.

Глава четвертая

Со времени сообщения мне Домною Платоновной повести Леканиды Петровны прошло лет пять. В течение этих пяти лет я уезжал из Петербурга и снова в него возвращался, чтобы слушать его неумолчный грохот, смотреть бледные, озабоченные и задавленные лица, дышать смрадом его испарений и хандрить под угнетающим впечатлением его чахоточных белых ночей – Домна Платоновна была все та же. Везде она меня как-то случайно отыскивала, встречалась со мной с дружескими поцелуями и объятиями и всегда неустанно жаловалась на злокозненные происки человеческого рода, избравшего ее, Домну Платоновну, своей любимой жертвой и каким-то вечным игралищем. Много рассказала мне Домна Платоновна в эти пять лет разных историй, где она была всегда попорана, оскорблена и обижена за свои же добродетели и попечения о нуждах человеческих.

Разнообразны, странны и многообильны всякими приключениями бывали эти интересные и бесхитростные рассказы моей добродушной Домны Платоновны. Много я слышал от нее про разные свадьбы, смерти, наследства, воровства-кражи и воровства-мошенничества, про всякий нагольный и крытый разврат, про всякие петербургские мистерии и про вас, про ваши назидательные похождения, мои дорогие землячки Леканиды Петровны, про вас, везущих сюда

с вольной Волги, из раздольных степей саратовских, с тихой Оки и из золотой, благословенной Украины свои свежие, здоровые тела, свои зазорные, но незлобивые сердца, свои безумно смелые надежды на рок, на случай, на свои ни к чему не годные здесь силы и порывания.

Но возвращаемся к нашей приятельнице Домне Платоновне. Вас, кто бы вы ни были, мой снисходительный читатель, не должно оскорблять, что я назвал Домну Платоновну нашей общей приятельницей. Предполагая в каждом читателе хотя самое малое знакомство с Шекспиром, я прошу его припомнить то гамлетовское выражение, что «если со всяким человеком обращаться по достоинству, то очень немного найдется таких, которые не заслуживали бы порядочной оплеухи». Трудно бывает проникнуть во святая святых человека!

Итак, мы с Домной Платоновной все водили хлеб-соль и дружбу; все она навещала меня и вечно, поспешая куда-нибудь по делу, засиживалась по целым часам на одном месте. Я тоже был у Домны Платоновны два или три раза в ее квартире у Знаменья и видел ту каморочку, в которой укрывалась до своего акта отречения Леканида Петровна, видел ту кондитерскую, в которой Домна Платоновна брала песочное пирожное, чтобы подкормить ее и утешить; видел, наконец, двух свежепривозных молодых «дамок», которые прибыли искать в Петербурге счастья и попали к Домне Платоновне «на Леканидкино место»; но никогда мне не удавалось

выведать у Домны Платоновны, какими путями шла она и дошла до своего нынешнего положения и до своих оригинальных убеждений насчет собственной абсолютной правоты и всеобщего стремления ко всякому обману. Мне очень хотелось знать, что такое происходило с Домной Платоновной прежде, чем она зарядила: «Э, ге-ге, нет уж ты, батюшка, со мной, сделай милость, не спорь; я уж это лучше тебя знаю». Хотелось знать, какова была та благословенная купеческая семья на Зуше, в которой (то есть в семье) выросла этакая круглая Домна Платоновна, у которой и молитва, и пост, и собственное целомудрие, которым она хвалилась, и жалость к людям сходились вместе с сватовскою ложью, артистическою склонностью к устройству коротеньких браков не любви ради, а ради интереса, и т. п. Как это, я думал, все пробралось в одно и то же толстенькое сердце и уживается в нем с таким изумительным согласием, что сейчас одно чувство толкает руку отпустить плачущей Леканиде Петровне десять пощечин, а другое поднимает ноги принести ей песочного пирожного; то же сердце сжимается при сновидении, как мать чистенько водила эту Леканиду Петровну, и оно же спокойно бьется, приглашая какого-то толстого бобра поспешить как можно скорее запачкать эту Леканиду Петровну, которой теперь нечем и запереть своего тела!

Я понимал, что Домна Платоновна не преследовала этого дела в виде промысла, а принимала *по-питерски*, как какой-то неотразимый закон, что женщине нельзя выпутаться

из беды иначе, как на счет своего собственного падения. Но все-таки, что же ты такое, Домна Платоновна? Кто тебя все-му этому вразумил и на этот путь поставил? Но Домна Платоновна, при всей своей словоохотливости, терпеть не могла касаться своего прошлого.

Наконец неожиданно вышел такой случай, что Домна Платоновна, совершенно ненароком и без всяких с моей стороны подходов, рассказала мне, как она была *проста* и как «они» ее *вышколили* и довели до того, что она *теперь никому на синь-порох не верит*. Не ждите, любезный читатель, в этом рассказе Домны Платоновны ничего цельного. Едва ли он много поможет кому-нибудь выяснить себе процесс умственного развития этой петербургской деятельницы. Я передаю вам дальнейший рассказ Домны Платоновны, чтобы немножко вас позабавить и, может быть, дать вам случай один лишний раз призадуматься над этой тупой, но страшной силой «петербургских обстоятельств», не только создающих и вырабатывающих Домну Платоновну, но еще предающих в ее руки лезущих в воду, не спрося броду, Леканид, для которых здесь Домна становится тираном, тогда как во всяком другом месте она сама чувствовала бы себя перед каждою из них парией или много что шутихой.

Глава пятая

Был я в Петербурге болен и жил в то время в Коломне. Квартира у меня, как выразилась Домна Платоновна, «была какая-то особенная». Это были две просторные комнаты в старинном деревянном доме у маленькой деревянной купчихи, которая недавно схоронила своего очень благочестивого супруга и по вдовьему положению занялась ростовщицеством, а свою прежнюю опочивальню, вместе с трехспальной кроватью, и смежную с спальней гостиную комнату, с громадным киотом, перед которым ежедневно маливался ее покойник, пустила внаем.

У меня в так называемом зале были: диван, обитый настоящей русской кожей; стол круглый, обтянутый полинявшим фиолетовым плисом с совершенно бесцветною шелковою бахромою; столовые часы с медным арапом; печка с горельефной фигурой во впадине, в которой настаивалась настойка; длинное зеркало с очень хорошим стеклом и бронзовою арфою на верхней доске высокой рамы. На стенах висели: масляный портрет покойного императора Александра I; около него, в очень тяжелых золотых рамах за стеклами, помещались литографии, изображавшие четыре сцены из жизни королевы Женеьевы; император Наполеон по инфантерии и император Наполеон по кавалерии; какая-то горная вершина; собака, плавающая на своей конуре, и портрет куп-

ца с медалью на анненской ленте. В дальнем угле стоял высокий, трехъярусный образник с тремя большими иконами с темными ликами, строго смотревшими из своих блестящих золоченых окладов; перед образником лампада, всегда тщательно зажигаемая моею набожной хозяйкой, а внизу под образами шкафчик с полукруглыми дверцами и бронзовым кантом на месте створа. Все это как будто не в Петербурге, а будто на Замоскворечье или даже в самом городе Мценске. Спальня моя была еще более мценская; даже мне казалось, что та трехспальная постель, в пуховиках которой я утопал, была не постель, а именно сам Мценск, проживающий инкогнито в Петербурге. Стоило только мне погрузиться в эти пуховые волны, как какое-то снотворное, маковое покрывало тотчас надвигалось на мои глаза и застилало от них весь Петербург с его веселящейся скукой и скучающей веселостью. Здесь, при этой-то успокоивающей мценской обстановке, мне снова довелось всласть побеседовать с Домной Платоновной.

Я простудился, и врач велел мне полежать в постели.

Раз, так часу в двенадцатом серенького мартовского дня, лежу я уже выздоравливающий и, начитавшись досыта, думаю: «Не худо, если бы кто-нибудь и зашел», да не успел я так подумать, как словно с этого моего желания случилось – дверь в мою залу скрипнула, и послышался веселый голос Домны Платоновны:

– Вот как это у тебя здесь прекрасно! и образа и сияние

перед Божиим благословением – очень-очень даже прекрасно.

– Матушка, – говорю, – Домна Платоновна, вы ли это?

– Да некому, – отвечает, – друг мой, и быть, как не мне.

Поздоровались.

– Садитесь! – прошу Домну Платоновну.

Она села на креслице против моей постели и ручки свои с белым платочком на коленочки положила.

– Чем так хвораешь? – спрашивает.

– Простудился, – говорю.

– А то нынче очень много народу всё на животы жалуются.

– Нет, я, – говорю, – я на живот не жалуясь.

– Ну, а на живот не жалуешься, так это пройдет. Квартира у тебя нынче очень хороша.

– Ничего, – говорю, – Домна Платоновна.

– Отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петровну, давно знаю. Прекрасная женщина. Она прежде была испорчена и на голоса крикивала, да, верно, ей это прошло.

– Не знаю, – говорю, – что-то будто не слышно, не кричит.

– А у меня-то, друг мой, какое горе! – проговорила Домна Платоновна своим жалостным голосом.

– Что такое, Домна Платоновна?

– Ах, такое, дружочек, горе, такое горе, что... ужасное, можно сказать, и горе и несчастье, все вместе. Видишь, вон в чем я нынче товар-то ношу.

Посмотрел я, перегнувшись с кровати, и вижу на столике

кружева Домны Платоновны, увязанные в черном шелковом платочке с белыми каемочками.

– В трауре, – говорю.

– Ах, милый, в трауре, да в каком еще трауре-то!

– Ну, а саквояж ваш где же?

– Да вот о нем-то, о саквояже-то, я и горюю. Пропал ведь он, мой саквояж.

– Как, – говорю, – пропал?

– А так, друг мой, пропал, что и по се два дни, как вспомню, так, Господи, думаю, неужели ж таки такая я грешница, что ты этак меня испытуешь? Видишь, как удивительно это все случилось: видела я сон; вижу, будто приходит ко мне какой-то священник и приносит каравай, вот как, знаешь, в наших местах из каши из пшенной пекут. «На, – говорит, – тебе, раба, каравай». – «Батюшка, – говорю, – на что же мне и к чему каравай?» Так вот видишь, к чему он, этот каравай-то, вышел – к пропаже.

– Как же это, – спрашиваю, – Домна Платоновна, было?

– Было это, друг мой, очень удивительно. Ты знаешь купчиху Кошеверову?

– Нет, – говорю, – не знаю.

– А не знаешь, и не надо. Мы с ней приятельницы, и то есть даже не совсем и приятельницы, потому что она женщина преехидная и довольно даже подлая, ну, а так себе, знаешь, вот вроде как с тобой, знакомы. Зашла я к ней так-то на свое несчастье вечером, да засиделась. Все она, чтоб ей пусто

было совсем, право, посиди да посиди, Домна Платоновна. Все ведь с жиру-то чем убивалась? что муж ее не ревнует, а чего ревновать, когда с рожи она престрашная и язык у нее такой пребольший, как у попугая. Рассказывает, болели у нее зубы, да лекарь велел ей поставить пиявицу врачебную к зубу, а фершалов мальчик ей эту пиявицу к языку припустил, и пошел у нее с тех пор в языке опух. Опять же таки у меня в этот вечер и дело было: к Пяти Углам надо было в один дом сбегать к купцу – жениться тоже хочет; но она, эта Кошевериха, не пускает.

«Погоди, – говорит, – киевской наливочки выпьем, да Фадей Семенович, – говорит, – от всенощной придет, чайку напьемся: куда тебе спешить?»

«Как, – говорю, – мать, куда спешить?»

Ну, а сама все-таки, как на грех, осталась, да это то водочки, то наливочки, так налилась, что даже в голове у меня, чувствую, засточертело.

«Ну, – говорю ей, – извини, Варвара Петровна, очень тебе на твоём угощении благодарна, только уж больше пить не могу».

Она пристаёт, потчует, а я говорю:

«Лучше, мать моя, и не потчуй. Я свою плипорцию знаю и ни за что больше пить не стану».

«Сожителя, – говорит, – подожди».

«И сожителя, – говорю, – ждать не буду».

Стала на своем, что иду и иду, и только. Потому, знаешь,

чувствую, что в голове-то уж у меня чертополох пошел. Выхожу это я, сударь ты мой, за ворота, поворачиваю на Разъезжую и думаю: возьму извозчика. Стоит тут сейчас на угле живейный, я и говорю:

«Что, молодец, возьмешь к Знаменью Божей Матери?»

«Пятиалтынный».

«Ну, как, – отвечаю ему, – не пятиалтынный! пятачок».

А сама, знаешь, и иду по Разъезжей. Светло везде; фонари горят; газ в магазинах; и пешком, думаю, дойду, если не хочешь, варвар, пятачка взять, такую близость проехать.

Только вдруг, сударь мой, порх этак передо мною какой-то господин. В пальте, в фуражке это, в калошах, ну одно слово – барин. И откуда это только он передо мною вырос, вот хоть убей ты меня, никак не понимаю.

«Скажите, – говорит, – сударыня (еще сударыней, подлец, назвал), скажите, – говорит, – сударыня, где тут Владимирская улица?»

«А вот, – говорю, – милостивый государь, как прямого пойдете, да сейчас будет переулок направо...» – да только это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему указываю, а он дерг меня за саквояж.

«Наше, – говорит, – вам сорок одно да кланяться холодно», – да и мах от меня.

«Ах, – говорю, – ты варвар! ах, мерзавец ты этакой!» Все это еще за одну надсмешку только считаю. Но с этим словом глядь, а саквояжа-то моего нет.

«Батюшки! – заорала я что было у меня силы, во всю мою глотку. – Батюшки! – ору, – помогите! догоните его, варвара! догоните его, злодея!» И сама-то, знаешь, бегу-натякаюсь и людей-то за руки ловлю, ташу: помогите, мол, защитите: саквояж мой сейчас унес какой-то варвар! Бегу, бегу, аж ноженьки мои стали, а его, злодея, и след простыл. Ну, и то сказать, где ж мне, дыне этакой, его, пса подчегарого, догнать! Обернусь так-то на народ, крикну: «Варвары! что ж вы глазеее! креста на вас нет, что ли?» Ну, бегла, бегла, да и стала. Стала и реву. Так ревма и реву, как дура. Сижу на тунбе, да и реву. Собрался около меня народ, толкует: «Пьяная, должно быть».

«Ах вы, варвары, – говорю, – этакие! Сами вы пьяные, а у меня саквояж сейчас из рук украдено».

Тут городской подошел. «Пойдем, – говорит, – тетка, в квартал».

Приводит меня городской в квартал, я опять закричала.

Смотрю, из двери идет квартальный поручик и говорит:

«Что ты здесь, женщина, этак шумишь?»

«Помилуйте, – говорю, – ваше высокоблагородие, меня так и так сейчас обкрадено».

«Написать, – говорит, – бумагу».

Написали.

«Теперь иди, – говорит, – с Богом».

Я пошла.

Прихожу через день: «Что, – говорю, – мой саквояж, ваше

благородие?»

«Иди, – говорит, – бумаги твои пошли, ожидай».

Ожидая я, ожидаю; вдруг в часть меня требуют. Привели в этакую большую комнату, и множество там лежит этих саквояжев. Частный майор, вежливый этакой мужчина и собою красив, узнайте, говорит, ваш саквояж.

Посмотрела я – всё не мои саквояжи.

«Нет-с, – говорю, – ваше высокоблагородие, нет здесь моего саквояжа».

«Выдайте, – приказывает, – ей бумагу».

«А в чем, – спрашиваю, – ваше высокоблагородие, мне будет бумага?»

«В том, – говорит, – матушка, что вас обкрадено».

«Что ж, – докладываю ему, – мне по этой бумаге, ваше высокоблагородие?»

«А что ж, матушка, я вам еще могу сделать?»

Дали мне эту бумагу, что меня точно обкрадено, и идите, говорят, в благочинную управу. Прихожу я нонче в благочинную управу, подаю эту бумагу; сейчас выходит из дверей какой-то член, в полковничком одеянии, повел меня в комнату, где видимо-невидимо лежит этих саквояжев.

«Смотрите», – говорит.

«Вижу, мол, ваше высокоблагородие; ну только моего саквояжа нет».

«Ну, погодите, – говорит, – сейчас вам генерал на бумаге подпишет».

Сижу я и жду-жду, жду-жду; приезжает генерал: подали ему мою бумагу, он и подписал.

«Что ж это такое генерал подписали на моей бумаге?» – спрашиваю чиновника.

«А подписали, – отвечает, – что вас обкрадено». Держу эту бумагу при себе.

– Держите, – говорю, – Домна Платоновна.

– Неравно сыщется.

– Что ж, на грех мастера нет.

– Ох, именно уж нет на грех мастера! Что б это мне, кабы знать-то, остаться у нее, у Кошеверихи-то переночевать.

– Да хоть бы, – говорю, – уж на извозчика-то вы не пожалели.

– Об извозчике ты не говори; извозчик все равно такой же плут. Одна ведь у них у всех, у подлецов, стачка!

– Ну где, – говорю, – так уж у всех одна стачка! Разве их мало, что ли?

– Да вот ты поспорь! Я уж это мошенничество вот как знаю.

Домна Платоновна поднесла вверх крепко сжатый кулак и посмотрела на него с некоторой гордостью.

– Со мной извозчик-то, когда я еще глупа была, лучше гораздо сделал, – начала она, опуская руку. – С вывалом, подлец, вез, да и обобрал.

– Как это, – говорю, – с вывалом?

– А так, с вывалом, да и полно: ездила я зимой на Петер-

бургскую сторону, барыне одной мантиль кружевную в кадетский корпус возила. Такая была барынька маленькая и из себя нежная, ну, а станет торговаться – раскричится, настоящая примадона. Выхожу я от нее, от этой барыньки, а уж темнеет. Зимой рано, знаешь, темнеет. Спешу это, спешу, чтоб до пришпекта скорей, а из-за угла извозчик, и этакой будто вохловатый мужичок. Я, говорит, дешево свезу.

«Пятиалтынный, мол, к Знаменью», – даю ему.

– Ну, как же это, – перебиваю, – разве можно давать так дешево, Домна Платоновна!

– Ну вот, а видишь, можно было. «Ближней дорогой, – говорит, – поедем». Все равно! Села я в сани – саквояжа тогда у меня еще не было: в платочке тоже все носила. Он меня, этот черт извозчик, и повез ближней дорогой, где-то по-за крепостью, да на Неву, да все по льду, да по льду, да вдруг как перед этим, перед берегом, насупротив самой Литейной, каа-ак меня чебурахнет в ухаб. Так меня, знаешь, будто снизу-то кто под самое под доньшко-то чук! – я и вылетела... Вылетела я в одну сторону, а узелок и бог его знает куда отлетел. Подымаюсь я, вся чуня-чуней, потому вода по колдобинам стояла. «Варвар! – кричу на него, – что ты это, варвар, со мной сделал?» А он отвечает: «Ведь это, – говорит, – здесь ближняя дорога, здесь без вывала невозможно». – «Как, – говорю, – тиран ты этакой, невозможно? Разве так, – говорю, – возят?» А он, подлец, опять свое говорит: «Здесь, купчиха, завсегда с вывалом; я потому, – говорит, – пятиалтын-

ный и взял, чтобы этой ближней дорогой ехать». Ну, говори ты с ним, с извергом! Обтираюсь я только да оглядываюсь; где мой узелочек-то, оглядываюсь, потому как раскинуло нас совсем врозь друг от друга. Вдруг откуда ни возьмись этакой офицер, или вроде как штатский какой с усами: «Ах ты, бездельник этакой! – говорит, – мерзавец! везешь ты этакую даму полную и этак неосторожно?» – а сам к нему к зубам так и подсыкается.

«Садитесь, – говорит, – сударыня, садитесь, я вас застегну».

«Узелок, – говорю, – милостивый государь, я обронила, как он, изверг, встряхнул-то меня».

«Вот, – говорит, – вам ваш узелок», – и подает.

«Ступай, подлец, – крикнул на извозчика, – да смотри-и! А вы, – говорит, – сударыня, ежели он опять вас вывалит, так вы его без всяких околичностей в морду».

«Где, – отвечаю, – нам, женчинам, с ними, с мереньями, справиться».

Поехали.

Только, знаешь, на Гагаринскую взъехали – гляжу, мой извозчик чего-то пересмеивается.

«Чего, мол, умный молодец, еще зубы скалишь?»

«Да так, – говорит, – намеднясь я тут дешево жида вез, да как вспомню это, и не удержусь».

«Чего ж, – говорю, – смеяться?»

«Да как же, – говорит, – не смеяться, когда он мордою-то

прямо в лужу, да как вскочит, да кричит *юх*, а сам все вертится».

«Чего же, – спрашиваю, – это он так юхал?»

«А уж так, – говорит, – видно, это у них по религии».

Ну, тут и я начала смеяться.

Как вздумаю этого жида, так и не могу воздержаться, как он бегаёт да кричит это *юх*, *юх*.

«Пустая же самая, – говорю, – после этого их и религия».

Приехали мы к дому к нашему, встаю я и говорю: «Хоша бы стоило тебя, – говорю, – изверга, наказать и хоть пяточок с тебя вычесть, ну, только греха одного боясь: на тебе твой пятиалтынный».

«Помилуйте, – говорит, – сударыня, я тут ничем непричинен: этой ближней дорогой никак без вывала невозможно; а вам, – говорит, – матушка, ничего: с того растете».

«Ах, бездельник ты, – говорю, – бездельник! Жаль, – говорю, – что давешний барин мало тебе в шею-то наклал».

А он отвечает: «Смотри, – говорит, – ваше степенство, не оброни того, что он тебе-то наклал», – да с этим *то!* на лошаденку и поехал.

Пришла я домой, поставила самоварчик и к узелку: думаю, не подмок ли товар; а в узелке-то, как глянула, так и обмерла. Обмерла, я тебе говорю, совсем обмерла. Хочу взвесь голос, и никак не взведу; хочу идти, и ножки мои гнутся.

– Да что ж там такое было, Домна Платоновна?

– Что – стыдно сказать что: гадости одни были.

– Какие гадости?

– Ну известно, какие бывают гадости: шароварки скинутые – вот что было.

– Да как же, – говорю, – это так вышло?

– А вот и рассуждай ты теперь, как вышло. Меня попервоначально это-то больше и испугало, что как он на Неве скинуть мог их да в узелок завязать. Вижу и себе не верю. Прибежала я в квартал, кричу: батюшки, не мой узел.

«Знаем, – говорят, – что *немой*; рассказывай толком».

Рассказала.

Повели меня в сыскную полицию. Там опять рассказала. Сыскной рассмеялся.

«Это верно, – говорит, – он, подлец, из бани шел».

А враг его знает, откуда он шел, только как это он мне этот узелок подсунул?

– В темноте, – говорю, – не мудрено, Домна Платоновна.

– Нет, я к тому, что ты говоришь извозчик-то: не оброни, говорит, что накладено! Вот тебе и накладено, и разумеи, значит, к чему эти его слова-то были.

– Вам бы, – говорю, – надо тогда же, садясь в сани, на узелок посмотреть.

– Да как, мой друг, хочешь смотри, а уж как обмошенничать тебя, так все равно обмошенничают.

– Ну, это, – говорю, – уж вы того...

– Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты сделай свое одолжение: в глазах

тебя самого не тем, чем ты есть, сделают. Я тебе вот какой случай скажу, как в глаза-то нашего брата обдeldывают. Иду я – вскоре это еще как из своего места сюда приехала, – и надо мне было идти через Апраксин. Тогда там теснота была, не то что теперь, после пожару – теперь прелесть как хорошо, а тогда была ужасная гадость. Ну, иду я, иду себе. Вдруг откуда ни возьмись молодец этакой, из себя красивый: «Купи, – говорит, – тетенька, рубашку». Смотрю, держит в руках ситцевую рубашку, совсем новую, и ситец преотличный такой – никак не меньше как гривен шесть за аршин надо дать.

«Что ж, – спрашиваю, – за нее хочешь?»

«Два с полтиной».

«А что, – говорю, – из половинки уступишь?»

«Из какой половины?»

«А из любой, – говорю, – из какой хочешь». Потому что я знаю, что в торговле за всякую вещь всегда половину надо давать.

«Нет, – отвечает, – тетка, тебе, видно, не покупать хороших вещей», – и из рук рубашку, знаешь, дергает.

«Дай же», – говорю, потому вижу, рубашка отличная, целковых три кому не надо стоит.

«Бери, – говорю, – рупь».

«Пусти, – говорит, – мадам!» – дернул и, вижу, свертывает ее под полу и оглядывается. Известное дело, думаю, краденая; подумала так и иду, а он вдруг из-за линии выскакивает: «Давай, – говорит, – тетка, скорей деньги. Бог с тобой

совсем: твое, видно, счастье владеть».

Я ему это в руки рупь-бумажку даю, а он мне самую эту рубаху скомканную отдает.

«Влады, – говорит, – тетенька», а сам верть назад и пошел.

Я положила в карман портмоне, да покупку-то эту свою разворачиваю, ан гляжу – хлоп у меня к ногам что-то упало. Гляжу – мочалка старая, вот что в небели бывает. Я тогда еще этих петербургских обстоятельств всех не знала, дивуюсь: что, мол, это такое? да на руки-то свои глядь, а у меня в руках лоскут! Того же самого ситца, что рубашка была, так лоскуток один с пол-аршина. А эти меренъё приказчики грохочут: «К нам, – трещат, – тетенька, пожалуйста; у нас, – говорят, – есть и фас-канифас и для глупых баб припас». А другой опять подходит: «У нас, – говорит, – тетенька, для вашей милости саван есть подержанный чудесный». Я уж это все мимо ушей пушаю: шут, думаю, с вами совсем. Даже, я тебе говорю, сомлела я; страх на меня напал, что это за лоскут такой? Была рубашка, а стал лоскут. Нет, друг мой, они как захотят, так всё сделают. Ты Егупова полковника знаешь?

– Нет, не знаю.

– Ну как, чай, не знать! Красивый такой, брюхастый: отличный мужчина. Девять лошадей под ним на войне убили, а он жив остался: в газетах писано было об этом.

– Я его все-таки, Домна Платоновна, не знаю.

– Что нам с ним один варвар сделал? Это, я тебе говорю,

роман, да еще и романов-то таких немного – на театре разве только можно представить.

– Матушка, – говорю, – вы уж не мучьте, рассказывайте!

– Да, эту историю уж точно что стоит рассказать. Как он только называется?., есть тут землемер... Кумовеев ни то Макавеев, в седьмой роте в Измайловском он жил.

– Бог с ним.

– Бог с ним? Нет, не Бог с ним, а разве черт с ним, так это ему больше кстати.

– Да это я только о фамилии-то.

– Да, о фамилии – ну это пожалуй; фамилия ничего – фамилия простая, а что сам уж подлец, так самый первый в столице подлец. Пристал: «Жени меня, Домна Платоновна!»

«Изволь, – говорю, – женю; отчего, – говорю, – не женить? – женю».

Из себя он тварь этакая видная, в лице белый и усики этак твердо носит.

Ну, начинаю я его сватать; отягощаюсь, хожу, выискала ему невесту из купечества – дом свой на Песках, и девушка порядочная, полная, румяная; в носике вот тут-то в самой в переносице хоть и был маленький изъянец, но ничего это – потому от золотухи это было. Хожу я, и его, подлеца, с собою вожу, и совсем уж у нас дело стало на мази. Тут уж я, разумеется, надзираю за ним как не надо лучше, потому что это надо делать безотходительно, да уж и был такой и слух, что он с одной девицей из купечества обручившись и день-

ги двести серебра на окипировку себе забрал, а им дал женитьбенную расписку, но расписка эта оказалась коварная, и ничего с ним по ней сделать не могли. Ну, уж зная такое про человека, разумеется, смотришь в оба – нет-нет да и завернешь с визитом. Только прихожу, сударь мой, раз один к нему – а он, надо тебе знать, две комнаты занимал: в одной так у него спальня была, а в другой вроде зальца. Вхожу это и вижу, дверь из зальцы в спальню к нему затворена, а какой-то этакой господин под окном, надо полагать вояжный; потому ледунка у него через плечо была, и сидит в кресле и трубку курит. Это-то вот он самый полковник-то Егупов и будет.

«Что, – я говорю, этак сама-то к нему оборачиваюсь, – или, – говорю, – хозяина дома нет?»

А он мне на это таково сурово махнул головой и ничего не ответил, так что я не узнала: дома землемер или его нету.

Ну, думаю, может, у него там дамка какая, потому что хоть он и жениться собирается, ну а все же. Села я себе и сижу. Но нехорошо же, знаешь, так в молчанку сидеть, чтоб подумали, что ты уж и слова сказать не умеешь.

«Погода, – говорю, – стоит нынче какая преотличная».

Он это сейчас же на мои слова вскинул на меня глазами, да, как словно из бочки, как рывкнет: «Что, – говорит, – такое?»

«Погода, – опять говорю, – стоит очень приятная».

«Врешь, – говорит, – пыль большая».

Пыль-таки и точно была, ну, а все я, знаешь, тут же подумала, что ты, мол, это такой? Из каких таких взялся, что очень уж рычишь сердито?

«Вы, – говорю ему опять, – как Степану Матвеевичу – сродственник будете или приятели только, знакомые?»

«Приятель», – отвечает.

«Отличный, – говорю, – человек Степан Матвеевич».

«Мошенник, – говорит, – первой руки».

Ну, думаю, верно Степана Матвеевича дома нет.

«Вы, – говорю, – давно их изволите знать?»

«Да знал, – говорит, – еще когда баба девкой была».

«Это, – отвечаю, – сударь, и с тех пор, как я их зазнала, может, не одна уж девка бабой ходит, ну только я не хочу греха на душу брать – ничего за ними худого не замечала».

А он ко мне этак гордо:

«Да у тебя на чердаке-то что, – говорит, – напхано? – сено!»

«Извините, – говорю, – милостивый государь, у меня, слава моему создателю, пока еще на плечах не чердак, а голова, и не сено в ней, а то же самое, что и у всякого человека, что Богом туда предназначено».

«Толкуй!» – говорит.

«Мужик ты, – думаю себе, – мужиком тебе и быть».

А он в это время вдруг меня и спрашивает:

«Ты, – говорит, – его брата Максима Матвеева знаешь?»

«Не знаю, – говорю, – сударь: кого не знаю, про того и

лгать не хочу, что знаю».

«Этот, – говорит, – плут, а тот и еще почище. Глухой».

«Как, – говорю, – глухой?»

«А совсем-таки, – говорит, – глухой: одно ухо глухо, а в другом золотуха, и обоими не слышит».

«Скажите, – говорю, – как удивительно!»

«Ничего, – говорит, – тут нет удивительного».

«Нет, я, мол, только к тому, что один брат такой красавец, а другой – глух».

«Ну да; то-то совсем ничего в этом и нет удивительного; вон у меня у сестры на роже красное пятно, как лягушка точно сидит: что ж мне-то тут такого!»

«Родительница, – говорю, – верно в своем интересе чем испугалась?»

«Самовар, – говорит, – ей девка на пузо вывернула».

Ну, я тут-то вежливо пожалела.

«Долго ли, – говорю, – с этими, с быстроглазыми, до греха», – а он опять и начинает:

«Ты, – говорит, – если только не совсем ты дура, так разбери: он, этот глухой брат-то его, на лошадей охотник ментясь».

«Так-с», – говорю.

«Ну, а я его вздумал от этого отучить, взял да ему слепого коня и променял, что лбом в забор лезет».

«Так-с», – говорю.

«А теперь мне у него для завода бычок понадобился, я

у него этого бычка и купил и деньги отдал; а он, выходит, совсем не бык, а вол».

«Ах, – говорю, – боже мой, какая оказия! Ведь это, – говорю, – не годится».



П. А. Федотов. Свежий кавалер

«Уж разумеется, – говорит, – когда вол, так не годится. А

вот я ему, глухому, за это вот какую шутку отшучу: у меня на этого его брата, Степана Матвейча, расписка во сто рублей есть, а у них денег нет; ну, так я им себя теперь и покажу».

«Это, – говорю, – точно, что можете показать».

«Так ты, – говорит, – так и знай, что этот Максим Матвейч – каналья, и я вот его только дождусь и сейчас его в яму».

«Я, мол, их точно в тонкость не знаю, а что сватаючи их, сама я их порочить не должна».

«Сватаешь!» – вскрикнул.

«Сватаю-с».

«Ах ты, – говорит, – дура ты, дура! Нешто ты не знаешь, что он женатый?»

«Не может, – говорю, – быть!»

«Вот тебе и не может, когда трое детей есть».

«Ах, скажите, – говорю, – пожалуйста!» «Ну, Степан, – думаю, – Матвейч, отличную ж вы было со мной штуку подшутили!» – и говорю, что, стало быть же, говорю, как я его теперь замечаю, он, однако, фортель!

А он, этот полковник Егупов, говорит: «Ты если хочешь кого сватать, так самое лучшее дело – меня сосватай».

«Извольте, мол».

«Нет, я, – говорит, – это тебе без всяких шуток, вправду говорю».

«Да извольте, – отвечаю, – извольте!»

«Ты мне, кажется, не веришь?»

«Нет-с, отчего же: это, мол, действительно, если человек

имеет расположение от рассеянной жизни увольняться, то самое первое дело ему жениться на хорошей девушке».

«Или, – говорит, – хоть на вдове, но чтоб только с деньгами».

«Да, мол, или на вдове».

Пошли у нас тут с ним разговоры; дал он мне свой адрес, и стала я к нему ходить. Что только тоже я с ним, с аспидом, помучилась! Из себя страшный-больной и этакой фантастический – никогда он не бывает в одном положении, а всякого принимает по фантазии. Есть, разумеется, у людей разное расположение, ну только такого мужчину, как этот Егупов, не дай Господи никакой жене на свете. Станет, бывало, бельма выпучит, а сам, как клоп, кровью нальется – орет: «Я тебя кверху дном поставлю и выворочу. Сейчас наизнанку будешь!» Глядя на это, как он беснуется, думаешь: «ах, обиду какую кровную ему кто нанес!» – а он сердит оттого, что не тем боком корова почесалась. Ну, однако, сосватала я и его на одной вдове на купеческой. Такая-то, тоже ему под пару, точно на заказ была спечена, туша присноблаженная. Ну-с, сударь ты мой, отбылись смотрины, и сговор назначили.

Приезжаем мы с ним на этот сговор, много гостей – родственники с невестиной стороны и знакомые, всё хорошего поколения, значительного, и смотрю, промеж гостей, в одном угле на стуле сидит этот землемер Степан Матвейч.

Очень это мне не показалось, что он тут, но ничего я не сказала.

Верно, думаю, должно быть его из ямы выпустили, он и пришел по знакомству.

Ну, впрочем, идет все как следует. Прошла помолвка, прошло образование, и все ничего. Правда, дядя невестин, Колобов Семен Иванович, купец, пьяный пришел и начал было врать, что это, говорит, совсем не полковник, а Федоровой банщицы сын. «Лизни, – говорит, – его кто-нибудь языком в ухо, у него такая привычка, что он сейчас за это драться станет. Я, – болтает, – его знаю; это он одел эполеты, чтоб пофорсить, но я с него эти эполеты сейчас сорву», ну, только этого же не допустили, и Семена Ивановича самого за это сейчас отвели в пустую половину, в холодную.

Но вдруг, во время самого благословения, отец невестин поднимает образ, а по зале как что-то загудет! Тот опять поднимает икону, а по зале опять гу-у-у-у! – и вдруг явственно выговаривает:

«Нечего, – говорит, – петь Исаю, когда Мануил в чреве».

Господи! даже отороп на всех напал. Невесте конфуз; Егупов, гляжу, тоже бельмами-то своими на меня.

Ну что, думаю, ты-то! ты-то что, батюшка, на меня остребенился, как черт на попа?

А в зале опять как застонет:

«К небесам в поле пыль летит, к женатому жениху – жена катит, Богу молится, слезьми обливается».

Бросились туда-сюда – никого нет.

Боже мой, что тут поднялось! Невестин отец образ поста-

вил да ко мне, чтоб бить; а я, видючи, что дело до меня доходит, хвост повыше подобрамши, да от него драла. Егупов божится, что он сроду женат не был: говорит, хоть справки наведите, а глас все свое, так для всех даже внимательно: «Не вдавайте, – говорит, – рабы, отроковицу на брак скверный». Все дело в расстрой! – Что ж, ты думаешь, все это было?.. Приходит ко мне после этого через неделю Егупов сам и говорит: «А знаешь, – говорит, – Домна, ведь это все подлец землемер пупком говорил!»

– Ну, как так, – спрашиваю, – Домна Платоновна, пупком?

– А пупком, или чревом там, что ли, бес его лукавый знает, чем он это каверзил. То есть я тебе говорю, что все это они нонче один перед другим ухитряются, один перед другим выдумывают, и вот ты увидишь, что они чисто все государство запутают и изнищут.

Я даже смутился при выражении Домною Платоновною совершенно неожиданных мною опасений за судьбы российского государства. Домна Платоновна, всеконечно, заметила это и пожелала полюбоваться производимым ею политическим эффектом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.